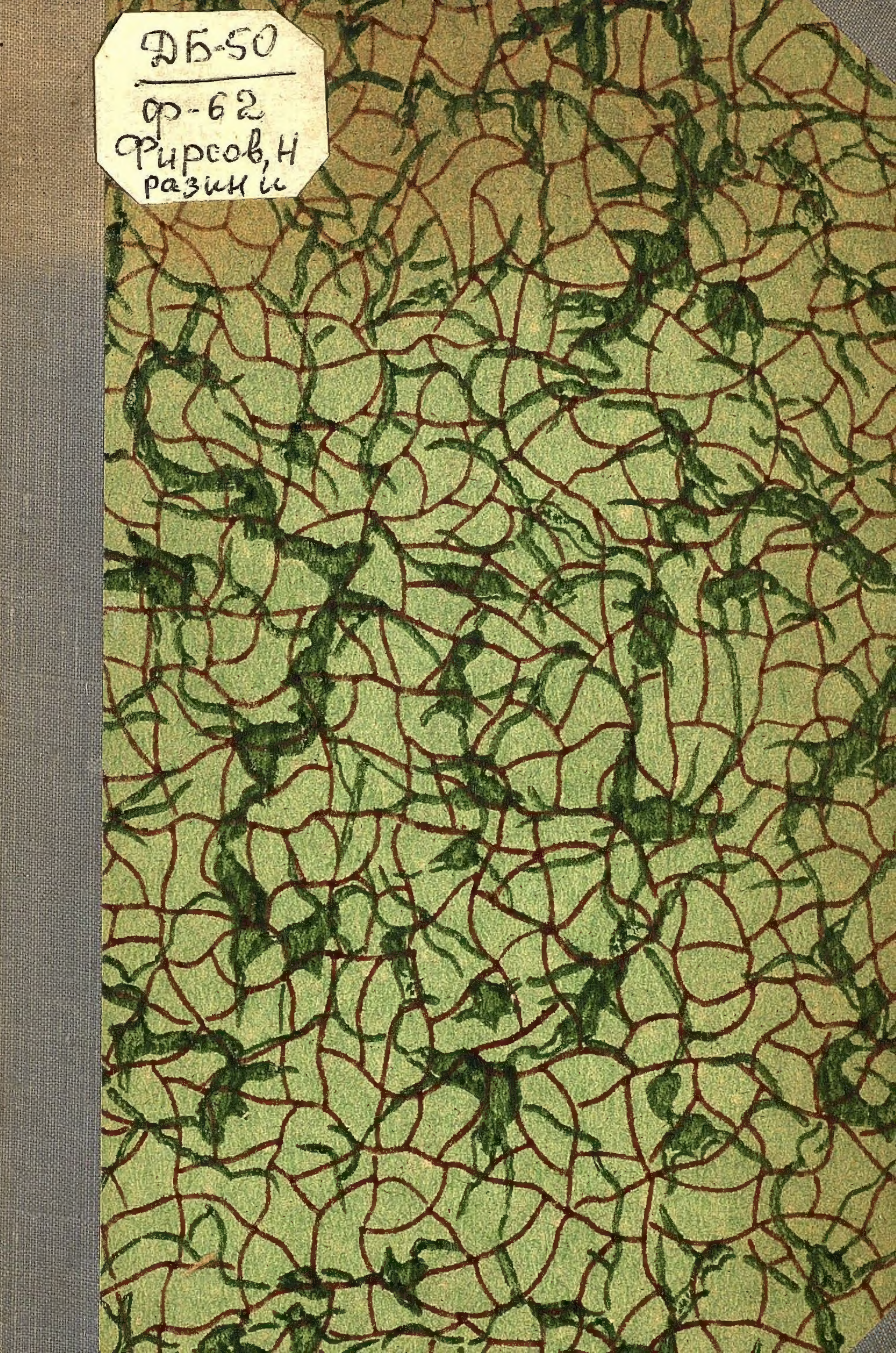
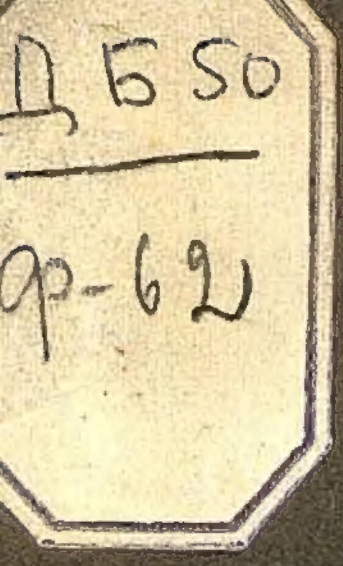

ДБ-50
Ф-62
Фирсов, Н
разин и



Tatar Mədəniəte Jortьnьꞑ Ƣilmi Xzmətlərə IV Tom.

Труды Дома Татарской Культуры. Том IV.

ФИРСОВ Н. Н.

РАЗИН и РАЗИНОВЩИНА
ПУГАЧЕВ и ПУГАЧЕВЩИНА

(2-ой ВЫПУСК 3-го ТОМА СБОРНИКА—„ИСТОРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЭСКИЗЫ“).

Издание Дома Татарской Культуры

КАЗАНЬ.

1930.

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. пред. выдач________

Вологда, тип. „Сев. Печатник". Зак. 16..

Ъ550
Ф-62

Tatar Mədəniəte Jortъnъꞑ Ǫilmi Xzmətləre. IV Том.
Труды Дома Татарской Культуры. Том IV.

947рд
Ф62

Проф. Н. Н. ФИРСОВ

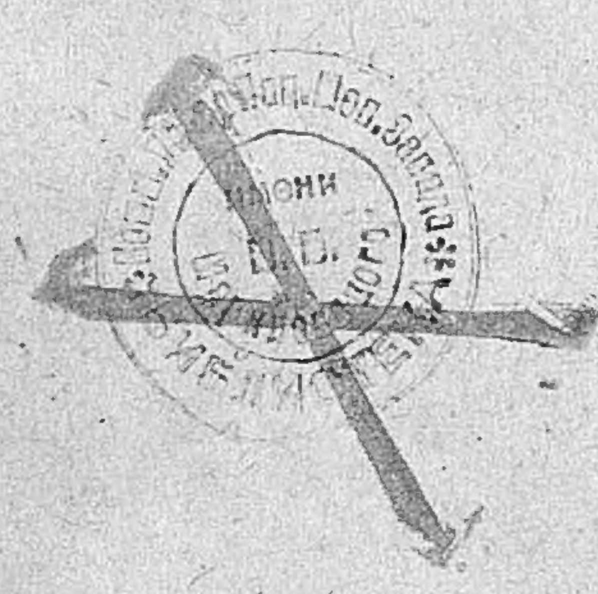
РАЗИН и РАЗИНОВЩИНА
ПУГАЧЕВ и ПУГАЧЕВЩИНА

(2-ой ВЫПУСК 3-го ТОМА СБОРНИКА—„ИСТОРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЭСКИЗЫ“).

2130
ПРОВ. 1935

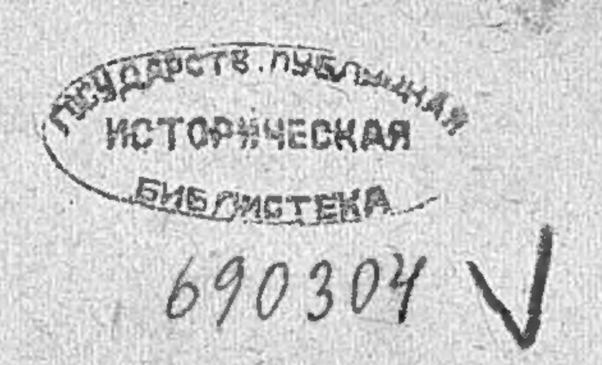






Издание Дома Татарской Культуры
КАЗАНЬ,
1930 г.

Напечатано под наблюдением учен. секретаря ДТК П. М. Дульского



Государств. публичная историческая библиотека
690304

Главлит № 4799 Наряд № 5126 Тираж 1000

Татполиграф, Казань, ул. Миславского, 4, 1930 г.

Посвящается 125-летнему юбилею

КАЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

имени В. И. УЛЬЯНОВА-ЛЕНИНА

и десятилетнему юбилею Автономной

ТАТАРСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

Предлагаемые вниманию читателя статьи, примыкая к прежним работам автора на те же темы, пересматривают поднимаемые в них вопросы заново и, при помощи диалектического метода, дают значительно более детализированное изложение междуклассовых отношений, политической и социальной борьбы.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ.

Дом Татарской Культуры отмечает 40-летний юбилей научно-преподавательской деятельности казанского профессора Николая Николаевича Фирсова изданием некоторых его работ и считает необходимым предпослать этим работам вступительные замечания, характеризующие как самого автора, так и его работы.

Н. Н. Фирсов прошел тяжелый путь профессора царской высшей школы. Для многих и многих путь профессора царской высшей школы был покрыт розами. Для Н. Н. Фирсова он оказался усеянным шипами, т. к. Н. Н. Фирсов с начала и до конца этого пути прошел с определенным политическим лицом, которое он не менял в зависимости от тех или иных настроений в министерских прихожих, к чему, как общеизвестно, значительная часть профессуры была чрезвычайно податлива.

В 1887 году стала развертываться научно-литературная (с декабря 1888 года и научно-педагогическая) деятельность Н. Н. Фирсова, а уже в 1892 году в историко-филологическом факультете и совете Казанского университета разыгрывается первая „история", связанная с именем Н. Н. Фирсова.

Остановимся на этой „истории" подробнее, т. к. она прекрасно характеризует не только то, с какими идеями молодой историк вступал на кафедру, но и чрезвычайно ярко вырисовывает ту „научную" среду, в которой эти идеи пытались получить права гражданства.

Н. Н. Фирсов в 1892 г. представил в историко-филологический факультет программу предполагаемых им чтений в весеннем полугодии 1892 г. по истории русского торгово-промышленного класса. И вот при рассмотрении программы в факультете проф. Корсаков заявил, что программа не может дать ясного понятия об об'еме и содержании этого специального курса, а кроме того некоторые рубрики программы определены, по его мнению,

с научной точки зрения неправильно: например, в отделе „Торгово-промышленные люди в Московском государстве“ во главе этих людей поставлен московский государь!

Когда дело перешло в совет, проф. Н. А. Фирсов (отец) заявил: „Не могу прежде всего не заметить, что в течение 32-летнего служения моего в Казанском университете в нашем факультете не было до сих пор случая, чтобы кто-либо из членов его высказался против программы преподавания, представленной другим преподавателем: обыкновенно дело рассмотрения программы лежало на декане факультета, и, на основании его доклада, они одобрялись факультетом“. Недоумевая, почему Корсаков видит ненаучность в поставлении во главе торгово-промышленных людей московского государя, Н. А. Фирсов говорил, что если ученый профессор отрицает самый факт такого главенства московского государя в торгово-промышленной деятельности страны, то он глубоко заблуждается: факт этот засвидетельствован многочисленными показаниями разнообразных источников как официальных, так и неофициальных (Флетчер, Олеарий, Котошихин) и принят давно в науке.

„Покойный Костомаров, которого сам же г. Корсаков ценил весьма высоко, в одном из лучших своих произведений—„Очерк торговли в Московском государстве“— соглашается с одним иностранным писателем, назвавшим Великого государя первым купцом в государстве... Требование отдельных членов факультета, чтобы другие преподаватели, в особенности начинающие, руководились их указаниями в своей преподавательской деятельности, представляется мне слишком бесцеремонным, несправедливым и не имеющим никакого законного основания. Закон не усвояет никому из профессоров права контроля преподавания прив.-доцентов: это право, равняющееся, впрочем, обязанности, принадлежит лишь подлежащим деканам и ректору“.

Возражая Н. А. Фирсову, Корсаков заметил, что ему представляется странной цитата из Костомарова, т. к. Н. А. Фирсову очень хорошо известно, насколько с свидетельствами иностранцев о России нужно обращаться осторожно, и что научная истина не может подкрепляться тем или другим текстом из иностранных пи-

сателей. Припомним, как, например, отзываются о догматах и обрядах православной религии Герберштейн, Флетчер и др. западноевропейцы, бывшие в Москве в XVI и XVII в.в. Неужели ученый историк примет безусловно их отзывы, и неужели эти отзывы правильно определяют наши религиозные верования?"

Совет принял программу Фирсова, но в конце концов, спор о свободе преподавания пошел в министерство, а последнее, согласившись с мнением Корсакова, не признало возможным разрешить Н. Н. Фирсову чтение лекций по представленной им программе.

Прошло три года и опять Н. Н. Фирсов попал под подозрение! Министр писал, что он „не может не обратить внимания на избранный Фирсовым для чтения курс—„История среднего и нижнего Поволжья"—„настоящий курс", говорит министр, „имеющий предметом изучение той окраины Русского государства, историческое прошлое которой своими односторонними и мятежными проявлениями постоянно шло в разрез с культурною деятельностью русского правительства, едва ли удобен, и не следовало ли заменить его иным более соответствующим программам и экзаменным требованиям курсом".

В результате Н. Н. Фирсову удалось полностью прочесть этот курс лишь в 1906-7 годах и, кстати сказать, для тысячной аудитории, „до отказа" переполнявшей актовый зал Казанского университета (М. Корбут—„Казанский университет за 125 лет", Каз., 1930 г., т. II, с. 142—3 и 160).

Программа курса была следующая: 1) Хозарско-болгарский период. 1) Хозария. 2) Волжско-Камская Болгария. 3) Торговля на Волге. 4. Борьба на Волге и Каме в эпоху Болгарского государства. II. Монголо-татарский период. 1) Золотая Орда. 2) Казанское царство и его отношение к предшествовавшим Волжским общественным союзам. 3) Торговля в татарскую эпоху на Волге. 4) Борьба за Волгу. III. Русский период. 1) Мятежи инородческого населения в бывшем Казанском царстве и их причины. 2) Социально-политическая борьба на Волге до Разина. 3) Движение Разина и т. д. (см. также Н. Н. Фирсов „Чтения по истории Средн. и Нижн. Поволжья" К., в. I, 1919 г., в. 2 1920 г., переизд. в 1921 г.).

В наступившие годы реакции, как этот курс, так и вообще вся деятельность Н. Н. Фирсова не были забыты царской властью: Н. Н. Фирсову пред'является обвинение в оскорблении величества.

Что ожидало Н. Н. Фирсова?

„Перспектива будущего рисовалась мрачными красками, пишет Е. И. Чернышев, говорили, что Фирсова могут сослать в Сибирь, но вследствие того, что совет университета стал на защиту проф. Н. Н. Фирсова и послал к министру Внутренних Дел Столыпину целую депутацию для представления своего постановления во главе с проф. Загоскиным, дело было замято в министерстве, во избежание студенческих беспорядков перед выборами во II Госуд. Думу. Однако, в последовавшую после 1905 г. реакцию все эти „замятые“ дела были подсчитаны, особенно к исполнившемуся в 1914 году 25-летнему юбилею научно-педагогической деятельности проф. Н. Н. Фирсова. Вместо чествования, юбиляру было предложено уйти в отставку за „выслугою лет“, т. к. „научная командировка“ в 1908 году не оказала совершенно никакого „воздействия“ на содержание лекций Николая Николаевича! В „отставке“ последний пробыл 2 учебных года и только в 1916 г. снова появился на кафедре в Казанском же университете, пребывая с того времени неотлучно в Казани, чему содействовала исключительно революция 1917 года, создавшая самые благоприятные условия научной деятельности проф. Н. Н. Фирсова (Е. Чернышев. „Фирсов, как историк Поволжья“, „Вестник Татароведения“, К., 1930 г., № 9—10, с. 10—11).

На этом мы кончаем нашу беглую характеристику политической физиономии Н. Н. Фирсова в условиях царского режима, поскольку взгляды Н. Н. Фирсова выявлялись в его преподавательской работе. Мы преднамеренно не касались обширной общественно-политической деятельности маститого историка в те годы, прошли мимо его связей с революционной работой и пр., т. к. все это нас завело бы слишком в сторону от той задачи, которую мы себе поставили в настоящих вступительных замечаниях.

Мы до сих пор еще ничего не сказали, какими же по своему качеству были политические воззрения Н. Н.

Фирсова?—Н. Н. Фирсов принадлежал к активно-революционному крылу народнической интеллигенции. После Октябрьской революции Н. Н. Фирсов сумел в своей практической деятельности сбросить с себя народнический груз, который он нес на своих плечах значительную часть сознательной жизни, но некоторые следы его еще остались.

Поэтому Дом Татарской Культуры, опубликовывая его работы о Пугачевщине и Разиновщине, предупреждает, что они не чужды народнической идеологии.

Например, не вдаваясь в подробный разбор его работ, упомянем лишь, что оба очерка автор начинает с портретов Пугачева и Разина, тем самым выпячивая на первый план взаимоотношения „героя и толпы".

Вдобавок надо иметь в виду, что работы по Разиновщине и Пугачевщине не написаны Н. Н. Фирсовым заново, а представляют собою переработку, хотя и коренную, уже широко известных (не только специалистам) предшествующих трудов Н. Н. Фирсова „Разиновщина" и „Пугачевщина", которые впервые увидели свет еще в 1906 и 1908 годах, и в особенности позднейших его произведений на те же темы („Народные движения в России до XIX в.", Москва, 1924 г. и „Крестьянская революция на Руси в XVII в.", Москва, 1927 г.).

Но, высоко ценя деятельность Н. Н. Фирсова в настоящее время, целиком направленную на обслуживание культурных запросов Татарии, Дом Татарской Культуры выпускает в свет означенные две работы Фирсова, тем более, что прекрасный язык автора и мастерское, чисто художественное изложение им событий далекой старины, использование автором неопубликованных документов и оригинальное толкование целого ряда недостаточно уясненных еще историками эпизодов, изучаемых Н. Н. Фирсовым,—дает право Дому Татарской Культуры на выпуск работ Н. Н. Фирсова.

Март, 1930 г.

М. Корбут.—Н. Мухитдинов.

РАЗИН И РАЗИНОВЩИНА.

(Опыт характеристики).

I.

ЛИЧНОСТЬ.

Этот человек произвел глубокое, незабываемое впечатление на широкие народные массы. Он сильно поразил умы и сердца черного народа. Про него были сложены песни, одна из которых—„Не шуми ты, мати зеленая дубравушка“—по преданию приписывается ему самому, о нем не устает народ рассказывать легенды, как о его подвигах, так и о зарытых им богатствах. В этих легендах Разин получил бессмертие. Если человек сделался предметом народной легенды, то, значит, он был недюжинный, большой человек. Разин и был именно таким. Это также несомненно, как и то, что свою бунтовскую карьеру он начал с простых разбойничьих подвигов. Ибо, с другой стороны, он был донской казак и ничто казацкое не было ему чуждо. Стремление получить „добычу казацкую“ делало казаков разбойниками, и они не только не стыдились этого—они гордились и похвалялись этим: „Мы веслом махнем, караван собьем“[1]), пели они в своей разудалой песне. И не только пели, но с криком „сарынь на кичку“ „сбивали“ караваны, становившиеся, таким образом, „добычей казацкой“; ее казаки делили, или „дуванили“ в своем казацком кругу. Добычничество было преобладающей чертой казацкой жизни, ибо казаки были, прежде всего, добычниками. Общество людей, поселившихся особо от госу-

---

[1]) А когда казаки крепли и из простых разбойников превращались в борцов с боярским государством, то они прибавляли: „Москвой тряхнем“: „Веслом махнем—Москвой тряхнем“.

дарства, в диком поле, где не было всего в чем нуждались эти люди, неизбежно делалось склонно искать необходимые товары повсюду, где только можно было их встретить и, находя, привыкало брать их силой, вместе с тем привыкая думать, что это именно и есть настоящее казацкое дело. Оно, действительно, в весьма значительной мере заменяло казакам производство товаров: они приобретались не трудом, а саблей. Но тем не менее, это приобретение было результатом общих усилий и потому казаки привыкли думать, что все, участвовавшие в этом приобретении, имеют одинаковое право на известную часть приобретенного: так создавался и укреплялся в казацкой жизни принцип равенства; так возникал своеобразный казацкий коммунизм, в экономической сфере, распространявшийся только на равное распределение общей добычи; по распределении, опять вступал в свои полные права индивидуализм: каждый был волен в доставшейся ему части,—мог ее и пропить, в „зернь" проиграть, мог и приумножить на счет таких игроков—„зернщиков". Словом, казацкий коммунизм распределения прекрасно совмещался с анархией потребления. На почве этой анархии образовались два класса казаков—„домовитые", которым впрок пошла воля и добыча, и „голутвенные", которые на воле богатели только на минуту, а затем пропивались и проигрывались. Эти-то последние, „которые", как говорит официальный документ, „голые люди и зернщики" [1]), были тем общественным слоем, который с особой страстностью и настойчивостью стремился к равенству в распределении; ибо в этот слой входили все обездоленные, бедствующие элементы общества, и чем труднее становилось жить в нем низшим классам—беднякам, посадским и крестьянам, изнемогавшим в XVII стол. под бременем, как государственно-боярского, помещичьего, так и торгово-кулацкого, купеческого гнета, тем все более и более численно увеличивался означенный слой, которому, при его нищете, нечего было терять, но который, при натиске на высшие классы, мог расчитывать на приобретение многого, естественно долженствовавшего

---

[1]) Москов. Арх. Юстиции, разрядн. приказ, Белогородский стол, Столб. 671, л. 183.

поступить в раздел между всеми неимущими победителями. Последнее неизбежно вытекало из факта приобретения сообща; это было слишком понятно: если сообща приобрели, то каждый должен владеть приобретенным, следовательно, надо разделить поровну. Другого вывода и не могла сделать народная мысль из данного положения: так голутвенными элементами воспитывалась и укреплялась уравнительная тенденция в психике простого народа, невыносившего неравенства уже потому, что слишком много пришлось ему страдать от экономического и политического порабощения высшими классами. Так неизбежно создавался в крайних, наиболее материально обездоленных элементах, наклон к своеобразному примитивному коммунизму. В культурном отношении простой народ в XVII стол., да и позднее, переживал в сущности еще первобытную эпоху, почему иного коммунизма, разумеется, и возникнуть не могло, и если голутвенные элементы в этом случае шли впереди всего простого народа, являясь наиболее радикальными сторонниками уравнительного казацкого строя жизни, то во всем остальном они ничем, кроме своей дерзости, не отличались от народной массы: одни и те же обычаи и нравы об‘единяли их с ней крепко, одни и те же боги были их общими богами. Таков по существу был и Степан Разин, сделавшийся вождем „голутвенного“ казачества и вообще всего, потянувшегося на его призывы, неимущего люда на Руси.

Нет никакого сомнения в том, что как личность, Разин заметен был в толпе—сразу мог обратить на себя общее внимание. Его физическая мощь, его быстрая сметливость, энергия и несокрушимая, но сокрушительная воля, делали это внимание длительным, привычным для толпы, а оно-то и было психологическим источником его обаяния и власти. Уже после первых своих успехов на Волге, толпе начал казаться он человеком, отмеченным особою властью, знающим ведовство, колдуном, которого ни сабля, ни пищаль не возьмет, а он возьмет все, что захочет, и даст народу то, что обещает—свободу и богатство, вольную и привольную, сытую и веселую жизнь, равно счастливую для всех голяков. Как же было не полюбить такого чудного казацкого атамана, не назвать его своим „батюшкой Степаном Тимофеевичем“ или просто

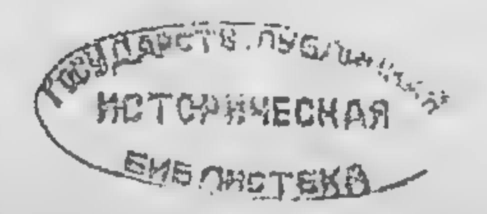
„Степанушкой!“ Тем не менее Разин поддерживал в своих „товарищах“-казаках, а в пору его астраханского господства и в подвластном ему обществе—суровейшую дисциплину, и отступление от заведенного в казацком товариществе порядка жестоко карал. Один иностранец-очевидец рассказывает, как беспощадно расправился Разин с казаком и женщиной, которых застали лежащими вместе: по приказу Разина, казак сейчас же был брошен в реку, а его партнерша была „повешена за ноги на коле“. Сам главный атаман, да и остальные его сподвижники не отличались пуризмом, но беспорядочное половое сожительство, очевидно, преследовалось, как фактор, ослабляющий дисциплину. Утапливая в Волге свою любовницу-персианку, сам „батюшка“ Степан Тимофеевич, повидимому, принес жертву этой дисциплине, желая показать своим, может быть, ревновавшим к красавице, „товарищам“, что он вполне свободен от изнеживающего женского влияния и принадлежит только своему делу и им. Страстная, широкая, размашистая натура этого „батюшки“ так подошла к „матушке-Волге“, на простор и широкое раздолье которой его с товарищами выкинули социально-экономические условия жизни народных масс на Руси. По внутреннему своему содержанию Разин был близок к этим массам. При всей кипучести своей мысли, смело шедшей против привычных для простого народа представлений, он не сразу и не в полном об‘еме разорвал с этими представлениями. Было время, когда он ходил на богомолье в Соловецкий монастырь. Это было незадолго до его выступления против боярско-помещичьего и приказно-кулацкого государства: очень возможно, что паломничество Разина имело и чисто разведочную цель. Сам простой народ, повидимому, хочет верить, что его любимый „Степанушка“ был способен и каяться. Существует предание, что будто бы Разин однажды хотел раззорить обитель, где „отшельники спасалися, души темные покаянием отмывать пришли“, но что был ослеплен богородицей и прозрел только тогда, когда покаялся. Так думает народ—и он прав в том отношении, что Разин, действительно, собственно с верой православной, в которой вырос, вполне никогда не разрывал, будучи плотью от плоти и костью от кости того народа, из которого

вышел. Во время смертной борьбы с Москвой Разин, как свидетельствует современный ему розыск по делу о его восстании, имел духовника. „Войсковой черный поп Боголеп, белые попы—Любим да Козел и многие казаки показали: „У Стеньки Разина отец духовный был черный поп Феодосий“. Этот поп близко стоял к Разину: по словам свидетелей, „тот старец всякие воровские Стеньки Разина замыслы ведал“. Он за одно был с славным атаманом,—и свидетели были убеждены, что именно он своим поповским колдовством охранял его—„от стрельбы—по Стеньке кладывал“. Был Разин с товарищами „в Черкасском городке“—поп Феодосий тоже неразлучен с ним: вооруженный кинжалом, разгуливал он с Разиным по городу и зорко, по-поповски, следил за направлением умов и плохо было тому, кто сторонился от Разинского дела: „которые к воровству не приставали“,—тем черный поп Феодосий „многие пакости и поругания чинил“. Будучи арестован, Феодосий подтвердил, что он действительно был духовным отцом Разина, но сказал, что „учинился“ таковым „поневоле“; в последнем, разумеется, позволительно усомниться, ибо поп Феодосий во время своей разинской карьеры понагрел руки и, как показывали очевидцы, из „Черкасского городка выехал он со многими воровскими животами“ [1]). Как бы то ни было, Разин не считал возможным быть без духовного отца, хотя, может быть, не он, а поп исповедывался перед ним в своих „воровских подвигах“. Присутствие при Разине этого своеобразного „духовника“, конечно, не мешало Разину не приставших к нему попов сбивать с Дону, вести агитацию против возобновления на Дону церквей и в веселую минуту глумиться над православной верой, советуя обходиться и без церковного венчания, а просто проплясать вокруг вербы и считать себя, после этого, повенчевшимися. Но считая вообще попов „царскими богомольцами“, он, однако, не решился их отвергнуть совсем, он лишь

---

[1]) М. А. 6. М. Юст. Разрядный приказ, Белогородский стол, столбец 712, листы 60—73.

Поп Феодосий был „растрижен и с патриарша двора отослан за караул на Мстиславский двор“, потом из Москвы был отправлен в ссылку. Может быть, «многие животы», приобретенные им во время разинской службы, предотвратили более суровую кару.



пожелал иметь своих „воровских“ попов, которые бы служили ему и его товарищам также, как попы служат царю и боярам. Быт очень крепок, и человек восставший против политического и социально-экономического порядка Москвы, невольно, во многих отношениях, осуществлял свои „замыслы“ в привычных для тогдашнего русского человека формах. Духовник был слишком привычной, а потому необходимой принадлежностью русской жизни, и Разин держал при себе „духовного отца“—так для порядку. Дело в том, что своих многочисленных товарищей не мог же он сразу превратить в отрицателей установившихся в народе верований; если бы он сам даже был последовательным глубоко идейным отрицателем, то и в таком случае он неминуемо должен был бы снисходить к верованиям большинства, а между тем Разин сам одной ногой стоял по ту сторону черты, за которую он шагнул от Московских устоев в новую вольную, без привычных пугал, жизнь. Так, на лобном месте, после прочтения смертного приговора, перед самым исполнением его, Разин, как свидетельствует современник-англичанин: „перекрестился несколько раз, обращаясь лицом к церкви“, а затем, „трижды на три стороны“, поклонившись народу, сказал: „прости“ [1]). Удивительно ли, после этого, что в войсках Разина, тоже было свое православное духовенство, которое совершало необходимые разинцам требы—исповедывало умирающих, поминало в своих молитвах умерших, убитых в боях с царскими войсками. Так, например, у одного попа (Микифора Иванова), бывшего на одном стругу с Разиным, и как потом показывали, побивавшего вместе с ним людей, нашли, когда он был схвачен, сверх всякой рухляди, в двух коробках «его собственной руки письмо», в котором „были написаны на одном листу Стеньки Разина побитые казаки“. Как же написаны? А вот как: „Роспись тем людям, которые у полку Степана Тимофеевича да товарища его Василья Роокова (вероятно, Родионова) сына Усца, которыя побиты: Раба своего преставившегося Ивана, убиенного Иосифа, убиен-

[1]) Чтения Общ. Ист. и Др., 1895 г., кн. 3-я «Известие, касающееся подробностей, недавно поднятого восстания в Московии Стенькою Разиным», стр. 15.

ного Данилы, убитого раба своего Федора, Фомы, раба своего Федора, убиенного раба своего убиенного Ильи, убиенного Ивана, раба своего убиенного Григорья" [1]). Отсюда понятно, почему в «прелестных памятях», как самого Разина, так и других казацких атаманов, действовавших от его имени, православная вера являлась привычным лозунгом, за который предлагалось бороться, стоять, и при том не только русским, но и татарам, и чувашам и мордве. Другим же, столь привычным лозунгом, тесно связанным с первым, был „великий государь" и его дом, за который мятежные или «воровские» прокламации призывали стоять также, кака за „дом пресвятыя богородицы и за всех святых", и призывали тоже не только русских, но и „инородцев". Очевидно, до других лозунгов, которые сразу сделались бы столь же популярными в русской народной массе, не додумались ни сам Степан Тимофеевич, ни тем менее его сподвижники. Даже для воззвания к иным национальностям—татарам и пр., к которым прокламация обыкновенно обращалась за одно с обращением к русскому населению, большею частью не находилось иных лозунгов, кроме этих двух домов—„пресвятыя богородицы" [2]) и „великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича всея великия и малыя и белыя России самодержца": все население, без различия национальностей, заключалось в эту скобку. И Разину, усвоившему эту привычную оффициальную формулу, вероятно, казалось, что, в силу ее привычности, против нее не станут протестовать и жившие бок о бок с русским населением остальные народы, ибо, де, они хорошо поймут, что оффициальные слова, в сущности, относятся не к ним, а к русским, и что на самом деле за оффициальными словами скрываются те действительные интересы, за которые борется та или иная группа населения. Это каждый из боровшихся понимал всем нутром своим, рус-

---

[1]) М. А. б. М. Ю. Разрядн. приказ, Белогорск. стол, столб. 408, лист 22. В „Росписи", напечатанной в материалах Попова, стр. 13, перечислены не все убиенные рабы, которых находим в подлинной, напечатанной в настоящей работе впервые. В „материалах" нет Ильи и Фомы и другой порядок перечисления.

[2]) Но как увидим дальше, известен случай, когда в прокламации к Казанским татарам „дом богородицы" был заменен Магометом.

ская „чернь“ понимала, что она „стоит“ за себя, за освобождение от угнетавших ее бояр-воевод, бояр-помещиков и всяких богатеев, „инородческая чернь“ стояла за то же социальное освобождение, но, в частности, у татар оно соединялось и с политическим освобождением вообще от русской государственной власти, ибо татары, когда-то державный народ в Поволжье, еще не помирились с завоеванием и в лице их руководительного духовенства и мурз продолжали мечтать о восстановлении своего государства; да и другие народы, в особенности чуваши, плохо мирились с захватом их земель русским населением и в своем восстании по кличу Разина и его эмиссаров в иных местах расправлялись с русскими крестьянами, как с своими экономическими, а потому и политическими врагами. Разинское движение встряхнуло самые разнообразные, часто противоречивые интересы. Его вождю надо было только поднять нисшие классы на организованное господство знатных и богатых,—это прежде всего и потому в своей „прелестной памяти“, например, к „разным селам и деревням“ Цивильского уезда, Разин обращался к „черни, русским людям и татарам, и чувашам и мордве“. Но зная, что есть и иные недовольные элементы в Московском государстве, он не брезгал и ими, в случае, если бы они пристали к восстанию; их Разин принимал под свое покровительство и оберегал от „черни“, хотя их восстание, разумеется, не было бы восстанием против имущих, а только против Московской власти, не социально-экономическим, а политическим. „А которые цивиленя дворяне и дети боярские, и мурзы и татаровя“, гласила „память“, „похотят за одно стоять за дом пресвятыя богородицы и за всех святых и за великого государя и за благоверных царевичев и за веру православную крестьян, и вам бы, чернь, тех дворян и детей боярских и мурз и татар ничем не тронуть и домов их не разорять“.

Здесь, вероятно, под дворянами и детьми боярскими разумелись те же татарские и чувашские, но лишь крестившиеся мурзы и князьки, и потому ясно, что Разин стремился использовать и местный национальный сепаратизм, лишь бы восстание было значительнее. Ради этого, Разин прибегал ко всевозможным способам, видимо, полагая, что чем больше будет способов к возбуждению масс,

тем вернее он достигнет широчайшего распространения восстання и, следовательно, победы над Москвой. Известно, что он пустил слух о находящемся на одном из его стругов царевиче Алексее Алексеевиче; этот струг, по сообщению современника, был обит красным бархатом; на другом, обитым черным бархатом, вещала молва, пущенная Разиным, плыл, якобы освобожденный из монастырской ссылки, патриарх Никон. Разин в это время шел вверх по Волге—на Москву, ему нужны были сильные авторитеты для такого похода—Москвы боялись—и он полагал, что такие авторитеты—государственная и церковная власть. Так думали и сподвижники Разина, другие казацкие атаманы, тоже писавшие и рассылавшие „прелестные памяти". Например, в одной из таковых, посланной от 8-ми Разинских атаманов к „атаманам-молотцам и всему великому войску" (т. е. донскому казачеству) и призывавшей их на помощь, было сказано:... „пожаловать бы вам порадеть за дом пресвятыя богородицы и за великого государя, и за батюшку Степана Тимофеевича, и за всю православную веру" [1]).

Ссылка на великого государя не мешала этим людям в сердитую минуту, иногда спьяна, ругать его с истинно русским воодушевлением. Значит, какого-либо благоговения к личностям обоих начальных людей Московского государства не существовало ни у Разина, ни у разинцев. Но в привычных представлениях Степана Тимофеевича и его товарищей, равно как и всего русского народа, государственная власть олицетворялась в великом государе, а церковная в патриархе, следовательно, надо было действовать от имени этих первых лиц Москвы и при том так, чтобы массы поверили в такое руководительство движением, а какой иной способ можно было тогда придумать, кроме сделавшегося привычным со Смутного времени—самозванства. Лично, Степан Тимофеевич не пожелал разыгрывать роль царя—он имел свой собственный удельный вес, пользовался среди масс слишком большой славой, чтобы для большого, предпринятого им, дела исчезнуть в чужом имени, авторитет его был настолько велик, что фактически он сам являлся

---

1) Разрядн. приказ, Моск. стол, столб. 141, лист 125.

царем черного народа и потому смело ставил свое имя рядом с именем настоящего царя Московского Государства—Алексея Михайловича; значит, кто-нибудь другой должен был разыграть царскую роль; разумеется, возможно было разыграть роль только мертвого царя, которого можно было бы об'явить неумершим, но ближайший к Алексею Михайловичу царь умер слишком давно, чтобы можно было его воскресить и потому пришлось об'явить царевича, старшего царского сына Алексея Алексеевича, незадолго до того умершего—здравствующим... Это уже было традиционно, ибо в Смутное время тоже появлялись все царевичи (кроме второго Лжедмитрия), а не цари, в качестве претендентов на Московский престол,—и вот царевич Алексей в Разинских прокламациях оказался не только не умершим, но даже идущим вместе со Степаном Тимофеевичем на московских бояр... Это было полною неожиданностью для массы. Руководители движения понимали это и выразили в условном кличе—„Нечай“, что должно было означать как бы нечаянность появления пред „чернью“ царевича: „у нас ясак (клич) „Нечай“, говорили казаки народу, „потому что вы не чаете царевича... И как Нижний возьмем, в то де число увидят царевича все крестьяие“. Царевича пока не показывали, скрывали. Так было таинственнее, еще более волновало народное воображение и привлекало „приставальщиков“ к движению, которым рекомендовалось надеяться: „вы, де, чаите“, увещевали их атаманы. Якобы скрывали до поры до времени и патриарха Никона, в лице которого Разин с товарищами признал церковную власть. Известно было, что Никона, как патриарха, погубили бояре: он был против бояр, ненавидел их, а потому и должен явиться союзником заклятого боярского врага. И вот нежелание поддерживать Разинское движение рассматривалось его казацкими руководителями, как измена „царевичу государю Алексею Алексеевичу и Никону патриарху и батюшке нашему Степану Тимофеевичу“. Правда, эмиссары Разина позднее обнадеживали и раскольников, как бы тем поддерживая „старую веру“, но это делалось ради агитации, лишь бы завербовать возможно большее количество сторонников движения. И сам знаменитый атаман, и его сподвиж-

ники—казаки далеки были от староверья, ибо имеем известие, что у всех тех, кого Разин оставлял у себя „поневоле“, он приказывал „бороды брить догола“, т. е. поступал также, как впоследствии Петр I, названный раскольниками, между прочим, и за бритье—антихристом. Бритье бород было в обычае украинского и в частности запорожского казачества, с которым донское казачество находилось в тесной связи, участвовало с ним во многих предприятиях за добычей и заимствовало у него обычай носить лишь усы, да, может быть, еще и чуб на выбритой голове. Вероятно, Разин и его казацкая вольница (если не вся, то часть ее) были только с усами—без бород, и их психике в рассматриваемый момент было чуждо староверье.

Казачество не только домовитое, но и голутвенное не выработало своей политической программы. Оно выработало общинный порядок общежития для себя, подобный порядку промысловой артели, и думало, что с выводом воевод и бояр можно и городам сообщить казацкое общинное управление в виде собрания всех горожан или круга с его выборными властями; но дальше этой перспективы казацкая мысль не шла и, устраняя бояр и из центрального города—из Москвы,—оставляла там в неприкосновенности обе единоличные власти,—светскую и духовную: царя и патриарха. Власть самого Степана Тимофеевича, как освободителя, добавлялась в Москве к этим двум властям, оставшимся и по казацкому представлению,—во главе государства.

II.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА.

Но каким бы даром внушения ни обладал Разин, он действовал в определенной социально-экономической обстановке, и действия его определялись не столько его волей, сколько именно этой, современной ему, социально-экономической обстановкой. Не станем здесь подробно говорить о ней, но отметим, что развитие торгового капитала в Московском государстве создавало в XVII столетии невозможные условия существования для по-

датных масс, как для городских, так и для сельских. Царские монополии и долго привилегированная торговля иностранцев, особенно англичан, непосредственно давили мелкий посадский—ремесленный и торговый люд, а также и крестьянское население. И посад, и село страдали и от дешевизны всего того, что они могли продавать, и от дороговизны всего того, что им нужно было покупать. По отношению к иностранцам они очутились в положении безудержно эксплоатируемой колонии: „немцы, персияне и всякие иноземцы", вопияли торговые люди на земском соборе 1624 года, „торгуют всякими товарами как в столице, так и по всем городам, и чрез то в городах всякие люди обнищали". Конкурренция с иностранцами в торговле была непосильна мелким и средним купцам. Туземные товары иностранцами покупались не у купцов, а прямо у производителей крестьян; русские купцы оставались за бортом торговли и лишены были возможности расширять свои торги и поднимать цены на свои товары, потому что иностранцы, не платившие пошлин, всегда могли предложить русскому городскому потребителю более дешевый товар, чем туземные торговцы. Последние жаловались государю на свое положение, указывая ему, что у них „никаких больших торгов нет" и что они „от иноземцев в конец погибли". Но господство на внутреннем товарном рынке иностранного капитала подрывало благосостояние не только русских торговцев, но и „всяких людей", т. е. мелкого служилого, ремесленника и чернорабочего посада. Выбрасывание за границу товаров, в том числе и первой необходимости, напр. хлеба, создавало товарный голод, а в указанном случае и простой физический голод. Понятен отсюда вопль, который слышался в 40-х годах XVII века со всех сторон, что англичане, вывозя за море хлеб, „оголодили русскую землю". Но оголаживало ее и продолжало оголаживать, по уничтожении английских коммерческих привилегий, само московское правительство,—сам белый царь, бывший первым купцом-монополистом в стране. Через своих приказчиков—„гостей", членов перворазрядного капитального московского купечества, он также, как и иноземцы, скупал хлеб у непосредственных его производителей—крестьян

и отправлял его за границу. Городская масса от этого могла только страдать, терпеть недостаток в хлебе, голодать. Но страдала она и от всей совокупности давлений, идущих от развивавшегося торгового капитала, от монопольной правительственной торговли, захватившей целый ряд ценных для сбыта за границу товаров. Для сбыта внутри государства самым доходным правительственным товаром явилось хлебное вино. Московское правительство не только оголаживало, но и спаивало народ. Царская водка, обогащая казну, довершала обнищание посадского и сельского населения. Таким образом, торговый капитал в соединении с московской диктатурой делал весьма успешно свое разрушительное дело в массах: они хирели и озлоблялись, считая источником своих бед своекорыстное, грабительское управление московского боярского правительства. Вымогательство и насилия бояр-воевод на местах, невозможность найти надлежащей правды и управы в центре, в московских приказах, нахождение здесь лишь ненасытного взяточничества и разорительной волокиты, роскошная жизнь московских хищных дельцов-бояр и дьяков в каменных палатах, которые с половины XVII столетия строились все большей и большей величины, так, что они поражали приезжих челобитчиков и представлялись им „неудобьсказуемыми“, все это раз'ясняло народу причину его бедственного положения и оправдывало его злобу на „боярскую“ Москву. Злоба эта быстро росла, по временам сильно обострялась под влиянием тех или других эксцессов господства того же торгового капитала. Обострение выражалось в городских яростных и упорных бунтах. В 1648 году вспыхнул в Москве бунт общественных низов, до крайности раздраженных на всевозможные злоупотребления заправил-бояр и приказной администрации. Дороговизна соли, как результат увеличения на нее налога и спекуляции ею, была едва ли не важнейшей причиной восстания. Оно и называется соляным бунтом. Трудно было его подавить, ибо немного улегшееся было народное возбуждение поднялось снова после громадного пожара, приписанного боярской мести народу за мятеж. Исчерпаны были все средства успокоения, начиная с выдачи мятежной толпе некоторых ненавистных администраторов и кончая крест-

ными ходами и личными уговорами и просьбами, даже обращением к народу самого царя со слезами на глазах—и едва-едва разбушевавшаяся социальная стихия вошла в свои берега. Достойно внимания, что, кроме других ненавистных лиц и в первую голову царского свояка Морозова и его подчинённых, ненависть народа направилась „на московского гостя"—капиталиста Шорина, обвинявшегося во вздувании цен на соль, и на бывшего „гостя", в этот момент приказного дьяка, Чистого, сосредоточившего на себе двойную ненависть, как на капиталисте-мироеде и как на чиновнике-грабителе. Здесь отчетливо вскрывается основная причина бунта—давление торгового капитала на общественные низы, но и чиновники служили тому же капиталу и на фоне его действия злоупотребляли своей властью и полномочиями, почему и пали жертвою народного гнева—таковы подручные Морозова—Плещеев, Траханиотов и Чистой; самого боярина Морозова царь выплакал у народа, а капиталист Шорин спасся, будучи вывезен из Москвы на телеге под положенным на нее товаром. Не без труда были подавлены в том же году бунты в мелких городах—Устюге и Сольвычегодске. Торговый капитал через его слуг всюду насаждал тяжесть жизни для „меньших", „маломощных" людей,—и подавление мятежа в одном месте не гарантировало спокойствия в другом. Напротив, мятежное настроение как бы перекидывалось из города в город, ибо всюду скопилось с избытком горючего материала. А хлеба не хватало. Его отправляли в чужие края. В 1650 году часть платы Швеции, по договору, московское правительство решило заплатить хлебом, и эта операция была поручена опять-таки капиталисту—„гостю" Емельянову. Явившись в Псков, он, по обыкновению, злоупотребляя полученными полномочиями, начал поступать диктаторски. Закупая и собирая хлеб, он запрещал хлебную торговлю в городе, приказывая покупать хлеб лишь у него по более высокой цене. Разумеется, в результате такого внеэкономического давления, возникла в Пскове дороговизна, т. е. уже экономическое давление, которое, в свою очередь, вызвало сначала сборища и разговоры по кабакам, а потом и восстание „черни", перебросившееся и в Новгород. И там, и тут особенно взрывала

„меньших людей“ уверенность, что хлеб собирают для немцев (шведов), а своих оставляют голодать. И эти бунты удалось подавить лишь с большим трудом присланным из Москвы войском.

Эти бунты 48 года были только прелюдией к дальнейшим осложнениям жизни под действием того же фактора—торгового капитала и сопутствующих ему явлений всякого рода насилия и хищничества. Медный бунт 1662 года явился одним из таких осложнений; он был подавлен быстро и с выдающейся жестокостью. Вместе с людьми, близкими к царю Алексею, его родственниками и их товарищами по управлению, народную ненависть вызвал опять капиталист—„гость“ Василий Шорин, спасшийся и в этот раз. Это опять указывало на основной фактор, вызвавший движение. Ясно, что в результате развития торгового капитала в 60-х годах XVII века город по прежнему был неспокоен. Неспокойно было и село. Здесь торговый капитал к средине XVII века потребовал такой эксплоатации крестьянства помещиками, что они, уже фактически давно его закабалив, провели на чисто классовом земском соборе 1648—49 г.г. в законодательный кодекс (Соборное Уложение) полное прикрепление к помещику зависимого крестьянства, покончив совсем со сроками для сыска беглых и запретив крестьянину подавать „извет“ на помещика. От этой санкции законом жизненного факта крепостному крестьянину не стало лучше. Эксплоатация его усиливалась и положение его ухудшалось. Развитие торгового капитала шло вперед и косвенно, чрез усиленную помещичью эксплоатацию крепостного труда, отражалось на крестьянской жизни, делая ее невыносимой. В такой же или даже еще худшей доле находились и холопы, „боярские люди“. Выхода не было. Пришлось бежать. Массовые побеги из села трудового населения на окраины тоже были предупреждающим государственную власть симптомом возможного крупнейшего замешательства. Крестьянская и холопская эмиграция особенно широким потоком направлялась на Дон, в область казачества, как известно давно организовавшего на этой реке особое вольное, фактически независимое от Москвы, общежитие. В конце 60-х годов крестьян и боярских людей (холопов) с женами и детьми прибыло на

Дон так много, что и здесь не нашлось возможности их пропитать, почему им пришлось среди вольного казацкого товарищества жестоко голодать. Положение пришельцев тем было тъжелее, что на Дону, мы знаем, и своих бедняков было достаточно. Получилось, таким образом, перепроизводство голодной безработной массы. Ее-то и можно было привлечь к какому-либо более или менее выгодному и желательному даже для имущей части донского казачества предприятию. Таким предприятием и явился первый поход Разина на Волгу. Как посмотреть на это предприятие, ставшее потом как бы прологом к громадному и страшному народному восстанию, захватившему обширные пространтства Нижнего и Среднего Поволжья и пошедшему было далеко на запад до Воронежа и Тамбова?

III.

ПЕРВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.

Цель первого Разинского предприятия понятна с первого взгляда. Она и не скрывалась ни вождем, ни его товарищами—это набег за добычей. Приведем в самом сжатом виде факты, в которых вскроется и социологическая сторона события.

Разин кликнул клич, и на него отозвалось немало охочих до добычи людей. Это были те, „которые голые и зернщики“ по преимуществу. Первая «думушка» с Разиным была та, чтобы идти вниз по Дону и выйти в море, но этот обычный план донских набегов не удалось осуществить. Мало того, что низовья Дона были загорожены турецкими крепостями, у казацкого круга с Азовом был мир и невыгодно было нарушить его; поэтому войсковое правительство воспротивилось предприятию Разина с товарищами в этом направлении, и он принужден был двинуться вверх по Дону, дабы, подкрепив свою ватагу в верховьях реки, (откуда, когда-то войсковое правительство призывало атаманов и казаков для похода на Азов),—затем переброситься на Волгу. Это Разину удалось. Получив подкрепление из верховых (донских) городков не только людьми, но и оружием и всякими припасами, Разин со своей стоянки на Дону, выше Паншина—городка, на буграх, окруженных полой водой, перешел

на Волгу. В стане на донских буграх скопилось у него до 1000 удальцов и больше, на Волге число их увеличилось, потому-что к нему пристало много рабочих и стрельцов с захваченных и ограбленных судов. Суда—это целый караван, принадлежавший царю, патриарху и нашему хорошему знакомому—московскому гостю Шорину. Это был ценный букет торгового капитала Москвы с его товарами, слугами и рабами-колодниками, которых везли на царевом струге. Ссыльных колодников Разин, разумеется, тотчас же освободил и принял в свое войско, а струг ненавистного капиталиста Шорина, по ограблении, затопил в Волге вместе с царским хлебом, который на нем везли. Начальные люди на этих судах были большею частью перевешаны на мачтах или брошены в воду, ибо редко кого из начальных людей миловал Разин, а если иногда и миловал, то для большего посрамления: так, например, приставленный к ссыльным служилый человек, будучи освобожден от немедленной смертной казни, был освобожден и от одежды и голым оставлен на песчаном берегу „с государевой казною". Нисшей братии, бывшей на судах, рабочим—бурлакам, стрельцам и ссыльным—было об'явлено освобождение. „Вам всем воля", сказал им Разин: „идите куда хотите. Силою не стану принуждать быть у себя, а кто хочет идти со мной, будет вольный казак. Я пришел бить только бояр, да богатых господ, а с бедными и простыми готов, как брат, всем поделиться". Этот призыв дошел до сердец бедного люда: они открылись для чудного атамана. А отсюда, понятно, почему впоследствии открылись ему и ворота поволжских городов. Теперь же Разин, с увеличившейся дружиной на 35 стругах, начал пробираться к низовьям Волги. Это тоже ему удалось. Разбив, высланный из Астрахани против него, отряд, Разин вышел в Каспийское море и прибыл к устью Яика, где уже поджидали его сообщники—яицкие казаки. Вместе с ними он „гулял" по морю, разбивая персидские суда. Действовал так он из Яицкого городка, занятого им при помощи обмана, причем этот захват сопровождался избиением всех, кого он считал своими врагами. В Яицком городке Разин перезимовал, а весной двинулся в поход к персидким берегам. Там он промышлял целый год, не мало потерял

людей в боях с персиянами и от болезней, но немало также побил и побрал в полон персиян, не мало учинил опустошений и ограблений в прибрежной полосе Персии, и наконец, видя, что оставаясь дольше здесь, он может потерять не только всю добычу, но и все свое войско, Разин вернулся на Волгу. Здесь, прежде всего, он опять ударил на персидские суда, шедшие с товарами вверх по Волге. На этих судах были и такие товары, которые персидский шах послал московскому царю, но они, как и купеческие, были пограблены казаками. Не успели только они захватить одно шахово судно, на котором, по поручению персидского повелителя, „купчина вез“ „аргамаков“, «к великому государю в любительных поминках» (т. е. подарках). Но сильное ограбление „великого государя“ в этот момент и не входило в казацкие расчеты. Разин задумал помириться с царем. Чрез астраханских воевод удачливый атаман предложил московскому правительству такую сделку: „отдало“ бы оно ему с товарищами „вины“ (ограбление ими на Волге царского, патриаршего и купеческих судов), а они, казаки, «заслужат великому государю» своими головами. Московское правительство приняло предложение, но с тем, чтобы Разин выдал пушки и пленников—персиян. После этого Разин прибыл в Астрахань. Это был момент полного его торжества. Он стал народным героем. Тут-то черный люд пред ним и преклонился и называл его „батюшкой Степаном Тимофеевичем“. Воеводы его побаивались и не осмеливались настоять на том, чтобы Разин выдал то, что должен был выдать, согласно состоявшейся мировой. Пушки он выдал только те, которые были ему ненужны. Пленников отпускал только за выкуп, а остальной добычи совсем не выдал, ибо она была уже „подуванена“, разделена между всеми участникам персидского похода. За то бедняки получили от него много. Щедрость его не знала границ: он сыпал золото и серебро направо и налево, разгуливая среди теснившегося к нему черного народа. Попировал он в Астрахани тоже в волю, и во время одного из таких пиров, на стругах гуляя по Волге и разойдясь во всю, утопил в „великой реке“, давшей ему славу и богатство, свою любовницу—пленную персианку-красавицу. Воеводы, со своей стороны, поживившись и от

Разина, старались возможно скорее выпроводить его из Астрахани и с Волги. Атаман, приобретший любовь черни, казался опасным. Он был таковым, нисколько не смирившись, не считаясь ни с какими обязательствами и ведя себя и в Астрахани и по дороге на Дон (в Царицыне) не как прощенный преступник, а как признанный вождь и заступник простого народа.

Таково начало карьеры Разина, как самостоятельного деятеля. Оно было удачно. Мы видим, что Разин и его вольница, как и меньшие люди во время городских восстаний, обрушивались на ценные плоды развития торгового капитала—на товары главнейших руководителей торгового движения восточной Европы. Вольница Разина состояла из голытьбы, пострадавшей от богачей, бояр и крупных купцов. Они были ей ненавистны и отнять от них неправильно ими нажитое для голытьбы было всегда заманчиво: это было особой, единственной в те времена формой классовой борьбы, обещавшей и материальную выгоду, и удовлетворение назревшего в психике обездоленных чувства мести. Сам Разин был не из голытьбы. Он принадлежал к домовитой части донского казачества и пользовался в этой среде большим уважением, как в высшей степени энергичный и умный казак, которому давались войсковым правительством сложные дипломатические поручения. Та группа донского казачества, к которой принадлежал Разин, домовитая, буржуазная группа, занимаясь рыбными промыслами, разумеется, входила и в торговые сношения с окраинами московского государства и, таким образом, сама на Дону создавала торговый капитал, последствием чего и явилось чисто предпринимательское ее отношение к голутвенной части донского казачества, создававшейся не только из пришлых „голых“ эмигрантов, но и на самом Дону именно на почве местных капиталистических отношений. Маломощные „голутвенные“ и на Дону поневоле становились батраками домовитых в их промысловом хозяйстве. Но домовитые казаки первоначальное накопление совершили не промыслами, а грабежом соседних народов, и с этим способом приобретения они не покончили и потом, когда уже превратились в местных богатеев, они только стали уклоняться от личного участия в набегах, но за то оставили за собой сна-

ряжение таких военных ватаг оружием, с'естными и боевыми запасами, с тем, чтобы впоследствии иметь свою половинную долю в приобретенной во время набега добыче; таким образом в этом случае голытьба в качестве будущих испольщиков у домовитых отдавала им на службу свою боевую энергию, удаль и силу, являлась их работниками. Естественно, из этой домовитой среды, ради получения львиной доли в добыче и, сверх того, понятной славы атамана-предпринимателя, мог выйти и организатор большого предприятия для „воровства". Таким предпринимателем, своего рода подрядчиком «воровской» (по терминологии того времени) артели и был на первых порах Степан Разин: не даром его вольница в песне называла себя „Стеньки Разина работничками". Вследствие удачи, этот глава разбойничьей артели вырос, может быть, неожиданно для самого себя—в вождя всех обездоленных и обиженных. Во всяком случае, он, несомненно, почувствовал, что при обнаружившейся в Астрахани любви к нему народной массы, при такой исключительной популярности его среди всего черного народа можно осмелиться на многое большее, чем набег за добычей.

IV.

БОРЬБА С МОСКВОЙ.

Вернувшись на Дон и привлекая здесь общее к себе внимание, Разин имел время обдумать свои дальнейшие планы. На Дону он пробыл всю зиму (1669—70 г.г.). В это время он и организовал новое предприятие много серьезнее прежнего: восстание против Москвы.

Это было сделано весьма умело. Разин со своей вольницей поселился отдельно от домовитых на одном из Донских островов, пониже городка Кагальника. На этом острове возник новый «земляной городок», так как разинцы понаделали себе землянок. Отсюда Разин и вел свою агитацию, держа, однако, в строжайшем секрете свой замысел: его знали только самые близке к нему люди. Агитация же сводилась к вербовке всех желающих в войско Степана Тимофеевича. Она имела крупный успех, ибо всем неимущим хотелось получить такую же добычу, какую привезли Разин с товарищами. Их удачливое обогащение

было лучшей приманкой в разинское войско. На стороне Разина оказывалась не только бедняцкая, но и середняцкая и даже вполне зажиточная часть донского казачества, все те, кто желал принять участие в готовившемся предприятии не только лично, но и через материальную поддержку ему оружием и припасами. Лишь самые правящие круги из боязни Москвы пытались препятствовать Разину, когда он, наконец, чувствуя под собой почву, со своими сторонниками прибыл в столицу войска в Черкасск,—но эта оппозиция оказалась слабой и успеха не имела. Разин смело опрокидывал все, что стояло поперек его дороги. В Черкасске он начал срывать покров тайны замышленного предприятия и начал агитировать в его пользу, а казаков, начавших «встрешно говорить», т. е. противоречить ему, оспаривать его, избивал и бросал в Дон. Также он поступил в казацком кругу с царским посланцем жильцом Евдокимовым, привезшим на Дон «милостивую государеву грамоту». Этого посланца, Разин, проникая в намеренья московского правительства, назвал лазутчиком, избил и утопил в Дону. Главный атаман всего войска Корнило Яковлев, бывший, говорят, крестным отцом Разина, после угрозы последнего, не посмел перечить и что-либо предпринять агрессивное против своего крестного сына; ибо ясно было, на чьей стороне сила. У Степана Тимофеевича было уже свое немалое, до 7.000 человек, войско (в состав которого входил и пришедший к нему запорожский отряд) и сверх того моральная и материальная поддержка со стороны казацкого большинства. Такова была обстановка на Дону, когда весной 1670 г. Разин снова появился на Волге. Первый город, на который он напал, был Царицин. Там ударили в набат и выпалили из пушки, но это не помешало Разину с Василием Усом тесно обложить город и поставить к его „надолбам" свои красные знамена. Осада города была непродолжительна. Жители передались Разину и, сбив замок у городских ворот, впустили казаков в город. В Царицине оказал сопротивление Разину лишь один воевода Тургенев, с немногочисленными людьми запершийся в башне. Но, несмотря на упорную защиту, башня была взята, защитники ее большею частью были перебиты, а взятый в плен воевода на другой день был казнен.

Укрепившись в Царицине, Разин выступил со всеми своими силами Волгой и берегами (конница) против отряда московских стрельцов, опоздавших на помощь Царицынскому воеводе, и уничтожил этот отряд—стрельцы были взяты в плен и, разумеется, вошли в войско Разина, а стрелецкие начальники кроме одного полуголовы, были казнены. После этой легкой победы Разин повернул назад и ударил на другой правительственный отряд, наступавший на него с юга и остановившийся «на Черном Яру».

По одному иностранному свидетельству во время взятия Разиным Царицина у него в войске было до 16 тысяч человек, из которых, будто-бы, половина была послана в Черный Яр. А после Черного Яра, значит перед наступлением на Астрахань, по тому же известию, войско Разина увеличилось до 27.000 чел. (по русским известиям—„с десять тысяч"). „Пришли к нему", сообщается в этом же иностранном источнике (Рукоп. Ленинградской Публичн. Библиотеки, Отдел IV, № 71), „от всех сторон крестьяне, холопы, татары и казаки на разбой". Так, с Разиным был атаман Василий Ус, который со своей партией пред тем поднимал крестьян на истребление помещиков. Начиналось и крестьянское восстание, и носился слух, по сообщению того же иностранца, „как холопы господ своих убили и господа в кафтанах холопских дворы свои покинули и побежали в Астрахань". Здесь они и нашли свою погибель. Ибо наступил страшный момент мести низов верхам общества. Сам вождь „черни" призывал к мести и этот призыв воодушевлял восставших, которые, по сообщению иностранца, готовы были идти „за ним на смерть" и „единогласно" воскликнули: „Бачка наш, да живет долго и да будет победителем всех бояр и князей".

Черный Яр достался Разину еще легче, чем Царицин—без всякого сопротивления. Стрельцы и солдаты передались Разину, с начальными людьми была произведена кровавая расправа; был пощажен лишь князь Семен Иванович Львов, как полагают, угодивший Разину еще во время первого его пребывания в Астрахани. Путь к этому последнему городу был открыт, и занятие его Разиным не замедлило. Начальствующие лица в Астрахани —воеводы и митрополит сделали, со своей стороны, все,

чтобы укрепить стрельцов в верности московскому правительству, даже заплатили им жалование, но ничто не помогло—их думы тяготели к славному защитнику „черни“, а не к московскому царю. Поэтому ни стрельцы, ни жители не оказали сопротивления Разину. Посадские люди впоследствии показывали, что „астраханцы и черноярцы служилые люди пошли из города против ево, Стеньки, будто на вылазку и с ним, де, Стенькою, под городом сошлись и с ним не бились, и Стенька Разин с воровскими казаками вошел в город без бою (Моск. Арх. б. Мин. Юст., Разрядный Приказ, Белогород. стол, столбец 692, листы 73 и 74). Классовый характер борьбы инстинктивно чувствовался и тогда: дворяне не доверяли простым ратникам и сами встали на их место для защиты города, Но это не могло поправить дела при общем сочувствии общественных низов к аттакующим город, в которых они видели своих братьев. Как только послышался сигнал—пять пушечных выстрелов—о сдаче города, так тотчас же «молодшие люди», т. е. бедняки, бросились избивать, начиная с воеводы, всех „лучших людей“—стрелецких голов, дворян, дьяков, астраханских сотников, детей боярских, а также и людей боярских, дворовых слуг, попавших под руку расходившимся мстителям. Тяжело раненый воевода князь Прозоровский был возведен на городскую стену „и с раскату“ сброшен на землю; погибло много служилых людей всякого чина. „Все начальники большие и меньшие“, говорится в воспоминаниях очевидца, переведенных „с голанского“,—„порублены и в воду брошены, того же времени в Астрахани многия безчеловечныя и яростныя убиения учинены“ (Р.П.Б. Отдел IV, № 71). По сообщению современного событию русского „сказания“, „земля обагрися кровью и мимо церкви до приказныя палаты течаша кровь человеча яки река“. Убитых Разин велел кидать „без разбору“ в „братскую могилу“ и приставленный к ней „старец“, т. е. монах, сообщал потом, что похороненных было 441 человек. Приказные дела были сожжены Разиным всенародно на площади, при чем он обещал так поступить и „на верху“ с царскими делами, ни мало не считаясь с своими заявлениями, что он борется за государя. Так праздновал он свою победу над воеводско-приказным строем в Астра-

хани. Здесь немедленно было введено победителем казацкое устройство с кругом из всех жителей города, разделенного, как казацкий полк, на сотни и десятки, с выборным начальством—атаманами, есаулами, сотниками и десятниками. Само собой ясно, имущество всех начальствующих и богачей, дворян, чиновников и купцов, все, находившиеся в Астрахани, как первоклассном коммерческом пункте, товары, все было экспроприировано и потом подуванено, разделено между всеми старыми и новыми казаками, т. е. показаченными астраханцами. Разинская многочисленная „воровская" артель поделилась со всеми приобщившимися к ней простыми и бедными, а потому руководитель ее, „Степанушка", сделался еще более „люб" массам, и, окруженный небывало-лучезарным ореолом баснословной удачи, мощи, ведовства и неуязвимости, из разбойничьего атамана окончательно превратился в настоящего вождя всего черного народа. Свою победу этот вождь громко праздновал в Астрахани. Он задал здесь пир на весь астраханский мир. Текла тогда в Астрахани не только красная, но и зеленая река: не одной крови, но и вина было много. От него зеленело в глазах и ярость победителей усиливалась до крайней степени. Казнен был старший сын воеводы кн. Прозоровского, казнен был и „ханов сын", который был взят Разиным „на бою за морем". Много было казнено в Астрахани всякого рода „господ". Разин сам руководил этим классовым террором. Он на коне раз'езжал по городу и всех заподозреваемых во враждебном отношении к новой власти подвергал казни: одним рубили головы, других бросали в Волгу, третьим отсекали руки и ноги и оставляли их в таком состоянии на произвол судьбы. Эта атмосфера классовой ненависти и борьбы была заразительна. Она охватывала детей, начавших в подражание своим отцам собирать свои детские круги, бить палками и вешать за ноги своих воображаемых врагов, одного мальчика повесили даже за шею, и он умер уже не шутя. Что после всего этого удивительного в том, что та же самая классовая ненависть заставила казачьих жен всячески надругаться над женами дворян и стрелецкого начальства: они отовсюду их изгоняли и не было тем нигде пристанища. Словом, по мнению представителя высших классов, общественные низы,

ставши господами в Астрахани, „отлучились от бога и великого государя в конец“. Служилых и солидарных с ними элементов истреблено было много, но не мало их сумело и спастись, перелицевавшись и спрятавшись на время. Многие дворяне и боярские люди „перехоронились“, как сообщала Разину астраханская „чернь“: их она боялась—они могли стать хорошими свидетелями против нея, когда московское правительство возьмет верх, и в Астрахань явятся мстители за содеянное, и поэтому „чернь“ просила у Разина отыскать перехоронившихся и перебить. Такова была психологическая природа Разиновщины: в анархическом своем экстазе движение шло до конца—до полного истребления классового врага. Но, Разину, хорошо понимавшему, чем движение было сильно, некогда было дольше оставаться в Астрахани. Он и то здесь промедлил целый месяц. В ответ на просьбу астраханцев Разин сказал: „когда из Астрахани пойду, то вы делайте, что хотите, и для расправы оставлю вам казака Ваську Уса“. Не все Разин казнил, иногда он и миловал, усматривая возможность использования человека для своего дела. Сидел однажды Степан Тимофеевич по турецки, „подогня колена“, у дверей дома митрополита, попивал вино и основательно уже нагрузился („гораздо пьян был“). В этот момент представили ему двух иноземцев—один был лекарь, другой автор цитируемых воспоминаний о разинском мятеже. Ответы лекаря удовлетворили грозного атамана, и тот сейчас же даровал ему жизнь, приказав лечить раненых казаков. Другой иностранец, автор разсказа, рекомендованный лекарем, как товарищ его, ничего не отвечал, но это обстоятельство не раздражило пьяного следователя и судью, он приказал подать ему вина, и тот „две большие чарки выпил“, а потом был отпущен Разиным в полк. Этих иностранцев Разин, очевидно, счел нужными ему специалистами; остальных он отдал бывшим в его армии татарам, и они разделили их между собой. Татар в его войске было немало; есть русское известие, что он „накупил татар“ пред своим вторым выступлением, т. е. привлекал их к себе, поделившись с ними раньше приобретенной добычей. Не даром, как сообщает цитированный иностранный наблюдатель, Разин, воодушевляемый своим громадным успехом

и высоко мысля о своем значении, писал из Астрахани к персидскому шаху, земли которого он раньше разорял, а его подданных полонил,—писал, „яко владелец российский и татарский“ (Р.П.Б. Отд. IV, № 71). Разин предлагал шаху, как равный равному, союз против Москвы, но из этого предложения, разумеется, ничего не вышло, да и не могло выйти, ибо в глазах шаха вождь поднявшихся низов Московского государства был также, как в глазах Московского правительства, „вор“, разбойник, бунтовщик против существующего государственного и общественного порядка. Шахам, равно как и царям, с Разиным было не по пути. И он совершил крупную тактическую ошибку, столь долго (целый месяц) промедлив в Астрахани: это было на руку московскому правительству, успевшему собрать силы для отпора опасному восстанию. Видимо, Разин и сам, наконец,это понял, заспешив походом из Астрахани и потому прекратив дальнейшее преследование социальных врагов астраханской „черни“. Ему тем более надо было спешить, что предстояли задержки и дальше. Действительно, двинувшись из Астрахани вверх по Волге, Разин остановился на некоторое время (до 7 августа) в Царицине. Здесь он совещался— и не раз—со своими товарищами. Обсуждался, главным образом, вопрос о дальнейшем пути похода. В кругу Разин спросил: „Куда в Русь иттить лучше—Волгою или рекою Доном“? Товарищи-казаки решительно высказались против донского и степного пути и приводили к тому веские основания. Они говорили в кругу же в ответ на вопрос, предложенный их атаманом-вождем: „Иттить им рекою Доном на Русь и укранские города, не мочно, потому де Дон река коренная, и как де запустошить украинские города, которые к Дону блиско, у них, де, на Дону запасов не будет, да и для того на те городы рекою Доном и Хопром иттить им не мочно, что, де, Танбов и Козлов городы многолюдные и там, де, дворян и всяких людей много, и они, де, в тех городах их, воровских казаков, побьют, а степью де им в Русь иттить тоже не мочно, потому что им, степью идучи, есть нечева и запасов весть им не на чем“ (М. Арх. б. М. Ю. Разрядный Приказ, Белогород. стол, столбец 692, лист 277). Оставалось „иттить“ волжским

путем. Это было мнение „круга“ — оно и было принято. Тем более надо было идти Волгой, что в Саратов жители усердно звали и торопили Разина, но он, выступив на многочисленных стругах из Царицина 7 августа, к Саратову подошел лишь к Успеньеву дню, 15 августа, и в этот же день, как Разину обещали, город ему был сдан самими „жителями“, встретившими батюшку Степана Тимофеевича „с хлебом“. Воеводы и другие начальные люди были утоплены в Волге. В Саратове было введено казацкое устройство. Здесь Разин не задержался, и вскоре участь Саратова постигла и Самару и с теми же результатами: с истреблением воеводы, приказных и других властей и с заменой „боярского“ управления казацким кругом. В походе Разина учасвовал и отряд запорожских казаков, шедший сухим путем по обоим берегам Волги.

Разинское движение послужило могучим толчком к предприятиям башкир против Казанского края. Но особенно сильно оно взволновало не кочевников, а оседлых „инородцев“—чуваш, черемис (мари), мордву и в меньшем количестве татар бывшего Казанского ханства. Русское крестьянство тоже начало подниматься и, расправляясь с помещиками, в лице наиболее предприимчивых своих представителей, спешило в таборы Разина и его сподвижников. „Инородцы“—чуваши, черемисы, мордва и татары не только не отставали от русских, но иногда и превосходили их в своем мятежном настроении. Это понятно. Социальное положение инородческих масс в Поволжье было еще хуже положения русских крестьян, потому что последние были все-таки победителями, участвовавшими в захвате земель у туземцев и потому невольно чувствовавшими себя выше окружающих их „инородцев“ при всей своей кабальной приниженности пред помещиками. Русского крестьянина притеснял в Поволжье помещик, воевода, каждый прикасчик и приказный, но он был свободен от миссионерского насилия, ибо был такой же „православный“, как и его многочисленное начальство. „Инородец“ часто чувствовал и религиозный гнет, а чрез то наиболее остро ощущал свое подневольное положение, хотя бы и не имел над собой помещика. Вполне естественно, что „инородец“ страстно желал сбросить с себя вообще московскую петлю. С такою мыслью поднимались

и чуваши, и мордва, и черемисы и татары. *) В своих воззваниях („прелестных письмах“ или „памятях“) Разин и обращался сразу ко всем народностям Волжского края, но к самой главной из них, к казанским татарам, он счел необходимым обратиться и отдельно. И обратился. Это было тем легче, что среди сообщников Разина были и татары, игравшие роль его правой руки в деле агитации среди татарского народа. Среди них особенно выделялся прибывший к Разину под Симбирск Ассан Айбулатов,—человек, вышедший не из бедняцкой среды, а также, как и Разин,—„пожиточный“. И внешность его была весьма представительной—не хуже разинской. Атлетического роста, с черной бородой и глубоким шрамом на щеке, Асан производил впечатление тоже „доброго молодца“, участвовавшего на своем веку в рискованных предприятиях. Ему-то Разин и поручил связаться с казанскими татарами. В своем письме на татарском языке к казанским татарам разинец-мусульманин Ассан Айбулатов стремился поставить все предприятие под высшую опеку бога, пророка и государя: так московский царь в разинской агитации очутился рядом с Магометом.

В этом воззвании Ассан Айбулатов, сообщая, что он находится „при Степане Тимофеиче“, обращался к казанским муллам и мурзам, „которые над бедными сиротами и над вдовами милосердствуют“. Он увещевал их стоять „за одно“, говорил, что они со Степаном Тимофеевичем об них „радеют“ и просил „за него и Степана Тимофеича богу помолиться“.

Можно предполагать, что это предложение расчитывало на старый план феодально-буржуазного класса казанских татар, который они пытались осуществить еще во второй пол. XVI в. (сейчас же после русского завоевания) и с которым они не раставались и впоследствии,—это—восстановить политическую независимость Казанского ханства и вообще господство татар на Средней и Нижней Волге. Этим, кажется, хорошо объясняется, почему Айбулатов обратился к муллам и мурзам: они были создателями и хранителями означенного плана. Вероятно, такого

---

*) Но имеются известия, что кулацкие элементы деревни не участвовали в восстании, а, напротив, будучи ограблены своими единомышленниками, явились доносчиками на них московским властям (см. мою работу—„Крестьянская революция на Руси в XVII в.; стр. 97).

именно рода агитация Степана Разина и Ассана Айбулатова и подкупала поволжских татар, соблазняла их к участию в поднятой борьбе с Москвой: помимо прямого смысла, и так, мне кажется, можно понимать вышеприведенное из памятников известие, что Разин „накупил татар" еще во время своих операций на Нижней Волге.

В результате—победоносное движение вверх по Волге и агитация собрала под красные знамена Разина толпу в 20.000 человек, когда он остановился под стенами Симбирска. Здесь померкла звезда главного вождя революции, которая из казацкой и городской превратилась в крестьянскую, захватив в свои ряды русских и „инородцев". Под Симбирском Разин простоял долго—с 4-го сентября по 3-е октября включительно, не раз пытался взять его штурмом, морил голодом, но в конце концов был разбит кн. Барятинским на голову и ночью, тайно от остальных толп, с одними своими донскими казаками бежал вниз по Волге. Это было началом его конца. Не найдя более поддержки на Волге, он бросился домой на Дон, желая, видимо, там набрать новые толпы голытьбы и так или иначе поправить проигранное дело. Но на Дону он очутился уже в другой социальной обстановке, а не в той, которая была в то время, когда он вернулся на Дон после первых своих подвигов на Волге и в Персии, когда с ним считался сам „великий государь", а казацкая буржуазия не осмеливалась поднять головы пред ним, любимцем „голых и зернщиков". Теперь он был сломленной силой, популярность его на Дону пропала и у него не было, как тогда, „своего войска"—боевые его товарищи во множестве погибли, или рассеянные со своими мелкими отрядами по широким пространствам Среднего и Нижнего Поволжья были обречены на гибель. Разин, однако, пытался бороться. Иногда его враги попадались в его руки. В каком-то бешеном изступлении он бросал их в большие печи и тепил ими, как бы стремясь и забыться в этой жестокости, и показать себя во весь свой рост неумолимого мстителя, навести на врагов прежний ужас. Но все оказалось тщетным,—и Разин был схвачен и выдан московскому правительству. В Москве, после жестокой пытки, он был казнен всенародно на Красной площади (6-го июня 1671 г.).

V.

ПОСАДСКО-КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА И ЕЕ КОНЕЦ.

Мятеж в Поволжье долго продолжался после его казни, от Симбирска распространяясь сначала в Западном, а потом в Северо-Западном направлении. Почин был сделан еще самим Разиным, пославшим из под Симбирска небольшие казацкие отряды для возбуждения восстания как в городах, так и в селах. В результате в западном направлении очень скоро весь край от Симбирска до Тамбова оказался в руках повстанцев. Как только, бывало, из города увидят приближающуюся толпу с красными знаменами и с конскими хвостами на длинных шестах, так сейчас же городские „черные люди“, т. е. ремесленники, чернорабочие, „будники“ (рабочие на поташных заводах) отворяли городские ворота и выходили встречать освободителей, с хлебом и солью, с хоругвями и иконами, выносимыми приходским духовенством. Вслед за городами, частью оказывавшими сопротивление, а большею частью сдававшимися „черныю“ без боя, поднялось крестьянство. Оно прежде всего принялось истреблять своих ближайших лиходеев—помещиков, а потом, вместе с казацкими атаманами и другими застрельщиками из городов, а иногда с предводителями из своего брата мужиков, бросалось на города, не уклоняясь от столкновений и с пришлыми царскими войсками, состоявшими под начальством особо назначенных командующих—московских „бояр и князей“. Началась упорная посадско-крестьянская война с высшими классами и представителями государственной власти, война, в которой особенно активное участие приняло крестьянство иных народностей Поволжья—поднялись татары, мордва, чуваши и мари (черемисы). Это движение иных народностей особенно свирепствовало к северо-западу от Симбирска. Казацкая партия, посланная тоже еще Разиным из-под Симбирска в этом направлении, должна была образовать авангард наступления на Нижний-Новгород. Она была поставлена под начальство атамана Максима Осипова, который впоследствии должен был разыграть роль царевича Алексея Алексеевича. Операционной базой этой партии скоро сделалось большое село Мурашкино, откуда отряды рас-

сылались в разные стороны для поднятия всего мирного населения. Всюду, где зажигался мятеж, повторялось одно и то же: власти истреблялись, так как большею частью „облиховывались“ (обвинялись) миром, меньшая часть воевод и приказных щадилась, как не заслужившая ненависти управляемых, приказные дела и вообще всякие письменные документы—„вотчинные крепостные письма“, „описи хлебных и денежных платежей“, словом—всякие долговые обязательства, „кабалы“ неизменно сожигались в первую голову, имущество властей и зажиточных людей, богачей разграблялось и дуванилось. Из Мурашкина, где находилась главная квартира Максима Осипова, был послан отряд в село Лысково, а отсюда и начались военные операции против Макарьевского монастыря, находившегося на другом берегу Волги. Монастырь привлекал повстанцев, как складочное место не только монашеского, но и боярского добра, положенного сюда хозяевами на хранение, а также и принятого просто в виде закладов по займам, которые делались у монастыря, занимавшегося и ростовщичеством. После неудачного штурма, повстанцы выждали удобного момента и, когда монастырские власти тайно бежали из монастыря, снова напали на эту осиротевшую обитель и уже без особых усилий ее взяли и разграбили. Между тем около казацкой партии Максима Осипова, состоявшей всего из 100 человек, собралась толпа повстанцев и крестьян до 12.000 чел. Образовалось, таким образом, войско, с которым Осипов и намеревался двинуться на Нижний, но как раз в этот момент из-под Симбирска пришло известие, что главный вождь восстания Степан Тимофеевич разбит и бежал. Это было, конечно, большим ударом для посадско-крестьянского восстания в Среднем Поволжье: оно лишилось своего главного штаба, своего самого сильного руководителя и вдохновителя. Но восстание не прекратилось и после этого события. Оно только еще более разбилось на отдельные местные движения. В этих движениях в качестве руководителей, кроме казаков и выдвинутых массами посадских и крестьян, участвовали и представители клира. Не один поп подвергся ответственности за такое духовное научение своей паствы, к которой белое духовенство стояло очень близко по своему материальному

и культурному состоянию. Таковы, например, были попы Михайло Федоров и Савва. Первый был соборным попом в Козьмодемьянске; но это не помешало ему играть здесь роль повстанческого вождя и вместе с пришедшими в этот отложившийся от царя город крестьянами—русскими и иных народностей—чувашами и черемисами, а также и с посадской „чернью" делать вылазки против осаждавшего Козьмодемьянск царского войска. Второй вел партизанскую войну с помещиками и правительственными отрядами, стоя во главе крестьянской банды и соединившись потом с разинскими казаками. Впрочем, акты той эпохи знают не только попов-партизанов, но и „старицу"—партизанку крестьянского происхождения Алену, которая, начальствуя большой толпой крестьян, производила налеты для „воровства" вместе с казацким атаманом Федором Сидоровым. Попавшая в плен, эта—„старица" Алена, объявленная колдуньей, была сожжена в срубе.

Как восстание широких масс превращалось в партизанщину, оперировавшую мелкими шайками, хорошо показывает один документ той эпохи. По этому документу, в Козьмодемьянске собралось до 15.000 инсургентов, т. е. по тому времени—весьма значительная сила. В старшину ее входили донской казак Ивашка Васильев—симбирец родом, он был главным вождем образовавшегося войска, дальше шли казацкие атаманы, ему подчиненные—Серко Черкашенин, Миронко Федоров, Мумирин козьмодемьянец, черемисский пристав, и казак Илюшка Пономарев, называвший себя атаманом Стеньки Разина. Илюшка начал собирать свою ватагу и на его сторону перешел Мумирин. У этих двух составилась партия человек до 400, было сделано 5 пестрядевых красных знамен, и „товарищи" ринулись на „воровство". В верховьях реки Шанги партия была разбита воеводой Нарбековым (16 декабря); это, может быть, произошло оттого, что в самом начале боя атаман Мумирин бежал с 7-ю товарищами и крестьянской женкой молодухой; поскакали они с поля сражения на трех санях, „нарядясь все в богатые кафтаны". В числе захваченных пленников оказался и поп села Покровского, который близко стоял к казацкой старшине. Воевода казнил всех пленных, в том числе и попа. Посечено и перевешано было, по донесению воеводы, „с 500

человек в разных местах". Позднее воеводе Максиму Грицеву попался и сам Илюшка, который и был им повешен на берегу р. Сухони, а тело его было послано в Унженский городок „для опознания и ведома". В половине 1671 г. уже в Великом Устюге был схвачен и атаман Миронко Мумирин, а также и его есаул Федько Дурак: они были отправлены в Москву. Мятеж на Ветлуге и Унже долго свирепствовал под руководством выделившихся из повстанческих скопищ партизанов,—особенно Илюшки Иванова, „прелестные письма" которого поднимали и посадских и крестьян то здесь, то там и который своими бунтовскими успехами обратил на себя внимание самого московского царя; но с момента ликвидации этих северных шаек мятеж начал стихать и здесь, куда он, так сказать, был отброшен, будучи по частям подавлен в более южных частях Среднего Поволжья. Население при этом приносило свои вины, приводилось к присяге (православное) или к шерти (иноверческое), а главные заводчики подвергались жестоким казням. Сам тишайший Алексей Михайлович подавал воеводам пример зверской жестокости. Он был спрошен как поступить с одним из второстепенных атаманов, ждавшим своей участи в московской тюрьме; царь указал: „отсечь ему руки и ноги, туловище повесить". Воеводы целыми партиями вешали смертельно раненых повстанцев и об этом доносили царю. Казненных было несметное множество. Вешали по берегам рек, виселицы с повешенными на плотах пускались по рекам вниз в назидание прибрежного населения, мимо которого они плыли. Всюду вылавливали участников движения или даже только сочувствующих Разину. Какое-нибудь неосторожное слово—и сказавший его привлекался к суровой ответственности. Так, напр., один крестьянин был схвачен за то, что, выслушав сообщение о разбитии Разина, заметил: „где вам Стеньку разбить?" И как потом этот крестьянин ни оправдывался, что сказал, де, он это с пьяну—„вне ума пьяным обычаем, спроста, а не с мудрости и не с вымыслу",—приказали его бить нещадно кнутом и урезать ему язык.

Для окончательного изловления и казни участников восстания, поколебавшего московское государство до его социальной основы, была под Арзамасом образована осо-

бая следственно-судебная и карательная комиссия с диктаторскими полномочиями. Начальником ее был назначен один из подавителей восстания кн. Юрий Алексеевич Долгорукий. Сюда по доносам тащили всех заподозренных и отсюда живой никто не уходил. Следствие, суд и исполнение приговора были коротки. По свидетельству очевидца-англичанина, „это место“ было похоже на „преддверие ада“. Здесь не только вешали целыми толпами и не только обезглавливали массами, оставляя трупы висеть или валяться в крови, но и сажали тоже в немалом количестве на кол, при чем многие из несчастных не умирали в течении нескольких суток н страшно вопили и стонали от нечеловеческих страданий. По показанию англичанина от рук палачей погибло 11.000 человек; но если считать всех казненных не только после подавления мятежа, но и в то время, когда он еще пылал то это число, вероятно, надо значительно увеличить, а с погибшими в боях этой социальной войны оно достигает прямо-таки колоссальной цифры.

В Астрахани и после подавления посадско-крестьянского восстания в Среднем Поволжье и в Северном Заволжье, еще некоторое время держалась диктатура казацкого круга. Здесь продолжался террор по отношению ко всем, над „чернью“ стоявшим, элементам и жертвою этого террора сделался один из глав того мира, с которым боролись и Разин и Разиновщина,—Астраханский митрополит Иосиф. Василий Ус, возглавлявший в Астрахани казазацкую диктатуру, вскоре после казни митрополита Иосифа, умер; на его место встал другой атаман Федор Шелудяк. При нем в Астраханском кругу было вынесено постановленне: стоять всем за одно, никого больше не побивать в Астраханн, а идти всем вверх по Волге и побивать бояр. Во исполнение этого постановления, подписанного отцами духовными безграмотных участников круга, Федор Шелудяк повел большое войско казаков, а главным образом—оказаченных астраханцев—вверх по Волге „под государевы городы“, повторяя опыт уже казненного главного вождя восстания Степана Тимофеевича Разина. Но успеха это новое движение не имело: ни города, ни села уже не поднимались. Это значило, что восстание посадской черии и закрепощенного кресть-

янства на высшие классы подавлено организованной силой этих классов—государством и его войском, частью устроенным уже по европейскому образцу и потому неизмеримо лучшим технически, чем нестройные и плохо вооруженные народные ополчения,—подавлено основательно и пока-что крепко.

Победили помещик с феодально-крепостническим землевладением и крупный купец с монопольной торговлей, иначе говоря,—победил Московский торговый капитал. И это вполне понятно: торговый капитал Моск. государства уже связался с западно-европейским торговым капиталом и получил от него необходимые рессурсы в виде инструкторов военного дела и усовершенствованной военной техники, каковая оказалась очень полезной для борьбы с общественными низами.

Но, как сказано выше, в посадских и крестьянских массах осталась и крепкая память об этом движении и особенно о возглавлявшем его необыкновенном вожде. Отрицательная часть программы и агитации Разина была так понятна и люба обездоленным и угнетенным—разбить оковы, сбросить крепостное иго, стать свободными, вольными казаками, захватить и разделить земли и имущество высших классов—помещиков и купцов—капиталистов,—это было так желательно и приемлемо и для посадской „черни“ и для крепостного крестьянина. Положительная часть программы и агитации была неясна и сбивчива; главное, что выделялось в ней в смысле будущего общественного устройства—казацкий круг возвращал общество Московского государства назад, к примитивным вечевым временам и был в сущности реакционным,—и с этою реакциею плохо мирился институт царской власти, очищенный от бояр современной положительной действительности Москвы. Но это было тогда несущественно, об отдаленном будущем массы не думали, они думали о настоящем и разве только завтрашнем дне, а тут было все прекрасно—и земли, и имущество, и товары, и власть переходили к ним, вчера неимущим беднякам, связанным к тому же кабалами и крепостными актами с господами. Теперь они сами господа и хозяяева жизни, вместо прежней зависимости меньших от бóльших теперь об'явлено всеобщее равенство. Так было и понятно всеми под-

невольными, что Разин пришел сделать так, чтобы „всяк на Руси всякому был равен“. Этой уравнительной тенденции его политики было достаточно, чтобы народ почувствовал, что его герой Степан Разин был не простой „воровской казак“, не простой разбойник, хотя он и начал свои волжские похождения с приобретения чужих „зипунов“; народ смутно, полуинстинктивно понимает, что „вор“ Стенька Разин стоял во главе какого-то большого, хотя и грешными способами выполнявшегося, дела, целями которого были воля, довольство и счастье народа; этим коллективным чувством, этим темным эпическим сознанием, вероятно, и об'ясняется тот элегический тон, который так ясно звучит в народных песнях и былинах о конце знаменитого вождя вольницы и черного народа. „Схороните меня, братцы“, говорит Разин в одной из таких песень,—„между трех дорог“:

Меж московской, астраханской, славной киевской,
В головах мне поставьте животворный крест,
Во ногах моих положте саблю вострую,
Кто пройдет или проедет остановится,
Моему ли животворному кресту помолится,
Моей сабли, моей вострой испужается.

Но в народных песнях разинского цыкла отразился, как в художественном зеркале народной психологии, мощный и в то же время скорбный образ „добрых молодцев“, „людей бедных“, „сирот беглых“, которым некуда стало головы преклонить и осталось только обратиться к „красному солнышку“:

Ты взойди, взойди красно солнышко,—
так пели они когда-то,
Над горой взойди над высокою,
Над дубровушкой, над зеленою,
Над урочищем добра молодца,
Что Степана свет Тимофеевича,
По прозванию Стеньки Разина!
Ты взойди, взойди красно солнышко!
Обогрей нас добрых молодцев,
Людей бедныих, сирот беглыих!

Мы не воры, не разбойнички,
Стеньки Разина мы работнички!

Много на Волге курганов или бугров Стеньки Разина и с редким из них не связана легенда о спрятанных в пещерах (напр. в Жигулевских горах или в Лысых горах против них, подле Ставрополя) и просто зарытых в земле богатствах. Еще в 1906 г., как сообщали пишущему эти строки (жившему тогда летом в Ставрополе Самарском), некоторые ставропольские жители усердно копали по ночам в разных местах на Лысых горах, отыскивая, будто бы зарытое здесь Разиным золото и серебро в лодках.

Вера в ведовство Разина особенно укрепилась в поволжском населении: именно в Поволжье рассказывали, что Разин перенял ведовство от какого то слепого астраханского казака. В народе Поволжья живет также вера, что Разин не умер, что он и теперь иногда появляется на Волге и скачет ночью по ее нагорному берегу или плывет на струге с шелковыми парусами: так он „по свету ходит", „поклажи свои сторожит".

Пусть Разин лежит под „животворным", „чудным—дивным" крестом, но дело в том, что, по мнению народа, он встанет и не затем, чтобы взять свои „поклажи", а затем, чтобы наказать людей за грехи. Уже для этой цели он приходил в образе Пугачева: так „думали" в народе во время и после Пугачевщины. Историк Костомаров когда-то под Царицыным беседовал со стодесятилетним стариком, видевшим Пугачева, и этот старик сказал историку: „Тогда иные думали, что Пугачев-то и есть Стенька Разин; сто лет кончилось, он и вышел из горы". Сам старик, по свидетельству Костомарова, не верил тому, что Стенька приходил, но он верил вполне, что Разин жив и придет снова. И выражая свою глубокую уверенность, что Стенька непременно придет, старик обмолвился метким словом:—„Стенька", сказал он „это— мука мирская".

Источники и пособия:

„Материалы (Попова) к истории возмущения Стеньки Разина"; „Акты исторические" т. IV; Костомаров: „Бунт Стеньки Разина"; Попов: „История возмущения

Стеньки Разина („Беседа“, 1858 г.); С. М. Соловьев „История России с древних времен, т. XI; Н. Н. Фирсов“ Разиновщина, как социологическое и психологическое явление народной жизни, 4-е издание; Н. Н. Фирсов „Чтения по истории Среднего и Нижнего Поволжья, 2-е издание; Н. Н. Фирсов „Народные движения до XIX в.“; Его же „Крестьянская революция на Руси в XVII в.“; С. И. Тхоржевский „Стенька Разин“; С. И. Порфирьев „Разинщина в Казанском крае“; А. И. Соловьев „Стенька Разин и его сообщники в пределах нынешней Симбирской губернии“.

ПУГАЧЕВ И ПУГАЧЕВЩИНА.

(Опыт характеристики)

I.

ЛИЧНОСТЬ ПУГАЧЕВА И ЕГО ЖИЗНЬ ДО ОТКРЫТОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ.

Емельян Иванов Пугачев своим внешним видом с первого взгляда особенно не поражал. Это был человек среднего роста, довольно широкий в плечах, но стройный, со спущенными на лоб подстриженными в кружок волосами и кругловатой черной бородой на скуластом самом простом, „мужицком лице“. Но это лицо выделялось из ряда вон своими глазами, большими и чрезвычайно живыми, из которых один иногда прищуривался, сообщая лицу лукавое выражение. В этих живых и наметанных черных глазах сверкали ум и энергия. По-русски говорил он „чисто“, лишь иногда „прошибаясь“ речениями, свидетельствовавшими о его происходждении из донских казаков: „погоди, трохи т. п.“. Однако, если мы всмотримся в его наиболее достоверный портрет (в летописи Оренбургской осады Рычкова, см. издание Академии Наук Сочин. Пушкина, т. XI, примечания Н. Н. Фирсова), то мы тщетно будем искать в лице Пугачева какие-либо признаки исключительной одаренности, могучей воли, даже просто необыкновенной жестокости; ничего подобного мы не найдем в этом лице, нет, это слишком обыкновенное лицо; оно скорее благодушно, чем свирепо, и только в больших темных зрачках заметна какая-то болезненная напряженность, как бы говорящая нам о том, что этот человек может быть и себе на уме, но также не чужд и некоторой фантазии и способен фанатически прилепиться к идее, претворить ее в жизненный план, подобно тому, как это раньше делал всякий мало-мальски сосредото-

ченный в себе раскольник, а теперь делает любой „умственный“, серьезный сектант. Но не представляя по внешнему своему виду ничего особенного, Пугачев все-таки не был вполне заурядным, серым человеком. Он был бойкий, с легкой походкой, расторопный человек— в высшей степени подвижная натура, и из него выработался один из тех типов, которые нередко выходили из широкого мира старой бродячей Руси. Уже в юноше Пугачеве, участнике семилетней войны, его военный начальник заметил „проворность“ и за это свойство взял его в свои ординарцы. „Проворность“ как нельзя лучше пригодилась Пугачеву в его дальнейшей скитальческой жизни, вывела его из многих бед и, еще более развившись от жизненных испытаний, бросила в отважные и крайне рискованные предприятия. Самостоятельная бродячая жизнь Пугачева началась после турецкой войны, во время которой он дослужился до 1-го офицерского чина-хорунжего. Отпущенный Паниным на побывку домой (на Дон, в Зимовейскую станицу), по болезни, Пугачев больше уже не вернулся в армию, к казенной службе. И случилось так потому, что он, будучи в отпуску, довольно скоро перешел на нелегальное положение, оказался в бегах. Не добившись отставки по болезни, проявившейся в каких то язвах на руках и груди, он вместе со своим зятем бежал на Терек, но и там ему не повезло. Как беглый, он был арестован и прикован на гауптвахте к стулу, но это не помешало ему бежать с тремя звеньями цепи и с подговоренным к побегу караульным солдатом. Вторично схваченный и заключенный, Пугачев снова бежал. На этот раз он искал себе опоры и нашел таковую в раскольниках, выдавая себя самого за раскольника. После этого где только не побывал Пугачев! Побывал он в Польше, где, повидимому, еще более сблизился с раскольничьим миром—в одном из важнейших раскольничьих гнезд на Ветке. Поэтому, когда Пугачев из Польши возвратился на льготном основании (в силу указа Екатерины II о беглых в Польшу), то неудивительно, что он, в сущности, начинает следовать всем директивам, которые получил от раскольников. Так, один из держателей Пугачева, раскольник Кожевников, направил его на Иргиз в самые недра раскола—Мечетную слободу—к раскольничьему

старцу Филарету—и Пугачев посетил и эту слободу и этого старца. Перед тем он пожил в дворцовом селе Малыковке (ныне Вольск), тоже в раскольничьем гнезде, и в это время уже знал о появившемся в Царицине государе Петре Федоровиче, схваченном там царицинскими властями, но успевшим скрыться „неизвестно куда“. Старец Филарет сообщил Пугачеву, вошедшему в полное его доверие, об отчаянном положении яицких казаков и об их намерении бежать к Золотой мечети, и нет ничего невероятного в том, что здесь, у старца Филарета, окончательно был выработан план иным способом улучшить положение яицких войск, а вместе с тем послужить и старой вере. От Филарета Пугачев отправляется для осуществления своего плана на Яик. В раскольничьем мире тогда происходило сильное брожение. Он был не менее недоволен своим положением, чем разгромленное яицкое казачество. От петербургского правительства Екатерины II не ожидалось тех гарантий, какие раскольничий мир мог получить от Петра III, который прекратил сразу гонения на раскольников, и когда он, так быстро и таинственно, исчез с российского престола, то общий вздох сожаления о нем, о его безвременной гибели, вырвавшийся из раскольничьей груди, был так глубок и искренен, что невольно заразил сочувствием к погубленному Екатериной и барами царю все простонародье, в лице крепостного крестьянства, ждавшее от Петра III освобождения от барской неволи—подобно тому, как он освободил от монашеской неволи так называемых экономических крестьян, переведя их из под власти монастырей и др. церковных учреждений под власть государства. Их общее сочувствие к Петру III, распространявшееся, как лучи света, безчисленными радиусами из раскольничьих центров по всему необозримому народному морю, всколыхнуло его ожившими в нем надеждами и ожиданиями. Ожили надежды и ожидания, разыгралась бурно народная фантазия—ожил и Петр III. Пошел слух, „что он не умирал, не убит, бары и царица ошиблись в расчете—„батюшка“ спасся и скрылся, но явится, уже явился, но опять скрылся—и снова явится“. Раскольники вели агитацию в этом смысле, а появление самозванцев одного за другим укрепляли массы в убеждении, что это и есть сущая правда. Едва ли можно

сомневаться в таком толковании этого вопроса, что раскол был вдохновителем самозванской авантюры Пугачева, хотя сам он потом и отрицал это. Вся совокупность фактов и логика событий заставляют нас сделать такой вывод. Раскольники прикосновенны сильно к пугачевскому предприятию в его начале; лишь потом, при ликвидации его в жизни, они как-то исчезают со сцены, увидав безнадежность восстания. А раньше они готовились к торжеству „старой веры“ вместе с торжеством об'явившегося, симпатичного им, законного царя. В Саратове, напр., как мы узнаем из подлинного следственного дела о Пугачеве, пред его выступлением коллективно изучалась „раскольничья библия“, кузнечный мастер Горбунов впоследствии показывал, что ему с братом эту библию читал некто Савич. Вообще в раскольничьих кругах к чему то готовились; дальнейшие события показывают, что, повидимому, обдумывался план поднять казачество, а потом весь народ на защиту старой веры, через возвращение престола ее другу,—императору Петру Феодоровичу. Трудно думать иначе, особенно, если принять во внимание то почитание, которое раскольники питали и до сих пор питают к памяти Петра III, образ которого в их сознании ассоциируется с образом Христа-искупителя. Дальнейшие похождения Пугачева тоже свидетельствуют, что его блюло недреманное раскольничье око. Попавшись в руки властей и будучи заключен в казанскую тюрьму, он бежал оттуда при помощи раскольников. Самое указание ими же на яицких казаков, недовольство которых екатерининским правительством могло сыграть роль фактора, возбуждающего их к восстанию, весьма знаменательно: яицкое войско было привержено к старой вере, и раскольники имели основание надеяться, что в числе лозунгов их восстания за обретенного государя будет старая вера. Раскольники и не обманулись в своих надеждах как на Пугачева, так и на яицких казаков. Последние приняли первого и стали скрывать его по разным степным хуторам. С „Талового Умета“ пахотного солдата Оболяева Пугачева перевезли на хутор казаков Кожевниковых, потом в „караулистое место“ на Усиху. Скрылись казаки с Пугачевым в камышах, где много было землянок с живущими в них беглыми и «раскольничьми черницами»; тут-то один из поздних свидетелей видел „незнакомого

человека, который был тогда в синем суконном зипунишке, в сапогах, на голове малиновая шапка". Это и был нареченный император всероссийский Петр Федорович—очевидно, опять, так сказать, направленный и благословленный земляночными „раскольничьими старцами" с их „начальником" Макарием во главе. Наконец, Пугачева привезли на хутор казака Толкачева. Здесь было решено, что подготовка для открытого выступления «государя" достаточна: у него уже была хорошая казацкая шапка, красный кафтан, знамена с осьмиконечным крестом и до 80 человек „подданных". Перед ними-то 17 сентября (1773 г.) и были распущены знамена „об'явившегося государя", и прочитан его первый манифест. При первой встрече с правительственными войсками у Пугачева было 140 человек, а 18 сентября его толпа увеличилась до 300 человек. Восстание началось успешно, хотя на первых порах, при встрече с правительственными отрядами, Пугачев и подумал, что „разберут по рукам". Не только не разобрали, но часть казаков даже присоединилась к „Петру Федоровичу". От Яицкого городка, к которому прежде всего подошел этот вынырнувший из Оренбургской степи „император", ему пришлось отойти, он предпочел двинуться на крепостцы меньшего значения, и здесь его сопровождал успех за успехом. Восстание быстро разгоралось и становилось серьезным, хотя в Петербурге долго этого не понимали или не хотели понимать. *Оно и научно вполне может быть понято лишь при условии, если вскроем его глубокие корни, выясним его социологические и психологические причины.*

II.

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

Основная причина пугачевщины заключалась, разумеется, в общем положении нисших классов России. Предшествующая история России шла так, что низшие классы являлись как бы колонией по отношению к высшим классам, неустанно и без меры ими эксплоатируемой с древнейших времен, когда неорганизованные массы подчинились власти организованных верхов общества. На этой почве безмерной эксплоатации государством народа

и образовались в России две неравные стороны—немногочисленные, но богатые и сильные своею „государственной“ организованностью господа, бояре, баре, мироеды-кулаки и многочисленная „чернь“ или, по дворянской терминологии XVIII в., „подлые люди“, сильные только своим количеством, но слабые своей неорганизованностью, некультурностью и умственной отсталостью. Большая часть этой „черни“ приходилась на долю крестьянства, в свою очередь более чем на половину в XVIII стол. находившегося в крепостном состоянии. Одно упоминание о крепостном состоянии вызывает в уме каждого представление о крайней степени гнета, вполне достаточного для того, чтобы сделать угнетенных непримиримыми врагами угнетателей. Такое же положение вещей могло вести лишь к полному отчуждению крестьянства от их владетелей-помещиков, а следовательно, от всех властей, административных и судебных, так или иначе содействовавших помещичьему гнету. Это отчуждение было на лицо в XVII стол., когда народу московское государство представлялось боярским и, как таковое, отрицалось; отсюда понятна анархичность всех народных движений того века, несмотря на самозванных царей и царевичей, во имя которых поднимались народные массы, несмотря на разинский лозунг—бороться против „бояр“ за государя; ибо царь признавался постольку, поскольку он должен быть хозяином, радеющем о черном народе, по скольку он был свой мужицкий (следовательно, чисто классовый) царь и только, а у наличного царя, которого ругательски ругали разинцы,—сам вождь движения, на словах якобы не разрывавший с московским монархизмом, обещал „на верху“ сжечь все „дела“, т. е. все его государственное делопроизводство. Надо все это принять во внимание, чтобы понять пугачевщину: она продолжала предшествующую народную историю, шедшую обыкновенно в разрез и наперекор с историей государства и высших классов.

Но в XVIII в. явились еще более оттягчающие условия жизни низов населения, как городского „посадского“, так в особенности крестьянского. Разумеется, в числе этих условий на первом месте стоит то стародавнее давление на массы, которое шло от развивавшегося торгового капитала.

В XVIII столетии хлебные цены начали быстро подниматься, вызывая оживление вывозной торговли хлебом, а это неизбежно повело к усилению эксплоатации сельского хозяйства, выжиманию из него возможно большего прибавочного продукта, с тем, чтобы воспользоваться барышами от хлеба и других сельско-хозяйственных продуктов и на внутреннем рынке и в особенности в заграничном отпуске. Быстро развивавшееся на этой почве денежное хозяйство сильно ухудшило положение трудящихся в России. Крепостное крестьянство остро почувствовало на своей спине власть денег, ибо помещики, нуждавшиеся в них для своей роскошной и дорогой жизни, налегали на своих крепостных всею силою своей господской власти и выжимали из своих подданных деньги в оброке, на который они перевели большинство крестьян в нечерноземных губерниях, или вообще через большую интенсификацию своего сельского хозяйства, превращавшегося у крупных владельцев из прежнего патриархально-барщинного в подлинное плантатарское, лишь с „белыми рабами". Вторым неблагоприятным условием для жизни крестьян было то обстоятсльство, что власть помещиков в XVIII стол. чрезвычайно усилилась, а при Екатерине II дошла до своей кульминационной точки. Императрица Елизавета запретила крепостным жаловаться на своих господ под страхом ссылки в Сибирь на поселение; при Екатерине II это запрещение было подтверждено с сугубым устрашением ссылкой в каторжные работы. Таковы были юридические „нормы", в которые государство ставило крепостного. Этих „норм" было достаточно, чтобы обратить помещика в своеобразного феодала, а крестьянина в его „раба". Если крестьянин, „подданный" такого владельца, был „мертв" (как сказал Радищев) в написанном „законе", то барин—феодал был для крестьянина неписанным законом, от которого нередко и в жизни крестьянин оказывался мертвым.

Правда, помещик не имел права судить крестьянина за такие преступления, как побег, воровство, и т. п.; он должен был обращаться в таких случаях к городской юстиции, что и указала императрица по поводу одного уголовного дворянско-крестьянского дела, в то время, когда Екатерина еще часто повторяла гуманные „аксио-

мы“ „Наказа“; но подобные указания на практике не достигали и не могли достигнуть цели, ибо находились в противоречии с чрезвычайными практическими „правами“ помещика над крепостным и с запрещением последнему жаловаться на господина. Получив право ссылать своих крестьян в каторжную работу, помещик, естественно, полагал, что он может подвергнуть его и своему домашнему следствию, суду и телесному наказанию, и этот господский самосуд и был обычным явлением в дворянско-крестьянской жизни той эпохи. Самосуд этот практиковался не только по таким крестьянским проступкам, которые были подсудны городской юстиции или помещику, но даже просто по всяким ничтожным обстоятельствам, не составлявшим никакого проступка, но почему либо возбудившим неудовольствие и жажду наказания в помещике: напр., в одном журнале „Домового управления“ (1763—1765 г.г.) назначалось 5000 розог крестьянину за манкировку причащением. Набожный помещик розгами гнал крестьянина к „святому причастию“. Такое положение вещей в тех случаях, когда самосуд не кончался смертью наказуемого, не казался ненормальным даже образованным, по своему хорошим помещикам того времени. Надо различать три главных типа тогдашних помещиков. Всем известен страшный тип жестокого барина, иногда засекавшего на конюшне и забивавшего крестьян на смерть, или барыни-„мучительницы и душегубицы“,—преимущественно крепостных женщин и девушек из ревности к своим крепостным любовникам. Некоторые дела таких „благородных“ преступников и преступниц доходили до высшего суда в империи—сената, обращали на себя внимание самой императрицы, и виновные не оставлялись без того или иного наказания, хотя в иных случаях все эти сверх-развратники и сладострастницы, растлеватели малолетних, алкоголики и садисты, может быть, нуждались более в психиатрической лечебнице, чем в правительственном истязании и тюрьме. Таких исключительных любителей и любительниц зверства по отношению к крепостным, помещиков с ненормально злой волей и извращенными чувствами было, конечно не так много: в лице их крепостное право поражалось самой человеческой природой, не могшей в случае на-

следственной неуравновешенности вынести, без вреда для психофизического организма, громадную власть помещика над крепостными, даваемую ему законом и еще преувеличенную жизненной практикой; наличность таких суб'ектов в прошлом показывает, до каких патологических крайностей могло доводить крепостное право представителей одной стороны—дворянской.

Большинство помещиков не было похоже ни на знаменитую Салтычиху, ни на мало известного, но не менее зверского поручика Шеншина, организатора настоящего застенка для своих крепостных; большинство представляло обыкновениых людей, просто сельских хозяев того времени, смотревших на крепостного, как на существенную принадлежность своего хозяйства. Приблизительно с тою же внимательностью, с какой порядочный помещик берег свой четвероногий инвентарь, он относился и к человеческой рабочей силе, жалея ее не менее чем своих лошадей и коров, но не любимых собак, удостоивавшихся часто большей барской заботы. Большинство помещиков того времени довольно точно охарактеризовано известным Рычковым как раз по отношению к Оренбургскому краю, откуда Пугачевщина начала свое шествие. „Крестьяне помещичьи“, пишет он, «работают на своего господина по три дня в неделю, столько же и на себя, а воскресный день оставляется им свободен, но больше употребляют его так, как помещик хочет“. Следовательно, большинство помещиков брало у крестьян большую часть их труда. И это было еще сравнительно милостиво, потому что, по свидетельству того же современника, были „и такие еще помещики“, которые ежедневно наряжали крестьян „на свои работы“, а „для пропитания“ им давали „один месячный хлеб“. Такова самая общая картина крепостного хозяйствования обыкновенных помещиков. Среди них были люди, слывшие у крепостного населения за добрых, хороших господ, образованные агрономы, в роде известного Болотова, не наказывавшего своих крестьян по прихоти, без вины, а при наказаниях боявшегося, как бы не засечь крестьянина на смерть, помещики, заботившиеся о благосостоянии и потому хлопотавшие в Комиссии Нового уложения о торговопромышленных интересах крепостного крестьянства, по-

мещики, кормившие крестьян в голодные годы, строившие крепостным дома после пожаров, снабжавшие своих крепостных инвентарем, но все они смотрели на крепостное население, в сущности, как на рабочий скот, который надо беречь потому, что он необходим, и которым можно распоряжаться по своему усмотрению—соединять пары для „умножения земледельцев“, сдавать в солдаты негодных почему-либо для хозяйства или просто прогневавших помещика, ссылать в Сибирь с получением на это рекрутской квитанции (так как крестьяне, ссылаемые помещиками в Сибирь, зачислялись за требуемых с помещиков рекрутов), продавать оптом и в розницу, ради поправления своих дел, ради покупки разных предметов роскоши и дорогих собак, продавать, не разбирая покупателя, нередко приобретавшего девушку для своего крепостного гарема, проигрывать в карты; словом, самые лучшие помещики были убеждены в справедливости такой власти над крепостными, которая бывших служилых людей, получавших поместья за службу и под условием службы по первому требованию, превращала в рабовладельцев, свободных теперь от обязательной службы государству и потому владевших населенными имениями уже на основании только своего „благородства“. Вот в этом-то и заключался весь ужас крепостного права: большая часть крестьянства очутилась в фактическом рабстве у дворянства, считавшего рабовладение своей сословной привилегией, а свою власть над крестьянами такого же „божественного“ происхождения, как и всякая власть предержащая над людьми. В ту же категорию обыкновенных помещиков, которых никто из современников не назвал бы „злодеями“, следует отнести и тех, которые всех крестьян переводили на так называемую „месячину“, т. е. на свое помещичье содержание, значит, отбирали у них всю землю на себя и заставляли их работать только на барина из-за прожитка,—и тех, которые прямо таки хищническим образом относились к крестьянскому труду и доводили своих „рабов“ до такого состояния, каковое, напр. изображено в одной крестьянской челобитной: крестьяне, дабы заплатить своему барину непосильный оброк, «продали последнее из домишек своих, экипажешки и скот“. Другой подобный же хо-

зяин-хищник запрещал писать своему прикащику о крестьянах, что они нищие и «ходят по миру», говоря, что он „хочет воров разорить и довести пуще прежнего“: „уповаю и надеюсь“, пояснял барин, „до 1000 р. взыскать с них без всякого сумнительства и разорения. Мужик сер, да ум-то у него не чорт с'ел“. Третий помещик хвалился, что он «нажил себе не малое имение от сбора через-чур великих податей с мужиков своих». Третий тип помещика—помещик-магнат, большею частью не живший в своих поместьях. Этот тип не смягчал ужаса крепостной зависимости, скорее даже увеличивал его, ибо „управители“, не имея мотива в той же мере жалеть крестьян, как настоящие хозяева—из чисто хозяйственных побуждений,—нередко разоряли их своим хищничеством, наживались сами и стремились не обидеть своих вельможных хозяев, нередко из далека, из чужых стран, пред'являвших к своим экономиям непосильные для их населения требования. Такие помещики-магнаты иной раз были людьми самого последнего образования, побывавшими для поклона у Вольтера, прочитавшими немало книг по самым животрепещущим, „модным“ тогда, вопросам в Европе—о свободе совести, о „системе природы“, проникнутыми самыми возвышенными настроениями, ибо уже затвердили великую идею об естественных правах человека и гражданина, словом, теми людьми высшего просвещенного общества, которых у нас окрестили „вольтерьянцами“. Но суть дела заключалась в том, чте эти самые „вольтерьянцы“ больше хороших книг любили хорошую жизнь—заграничные „вояжи“, в которые тогда ударились крупные русские бары, проживая в Париже огромные суммы денег и сделавшись там и в других европейских центрах „притчей во языцех“, каким-то символом пустоголового мотовства; любили они безумно-роскошную жизнь и в нашей Северной Пальмире, подражая двору Семирамиды Севера—и, понятно,—обычных, весьма больших доходов с многочисленных имений, не хватало—и вот для эпикурействующих „философов“ начиналось выжимание последних соков из несчастных „рабов“, над горькою участью которых наш поклонник „освободительной философии“ первый же готов был проливать отвлеченные, теоретические слезы, самые де-

шевые из всех человеческих слез. Во время путешествия Екатерины II в Поволжье ей было подано более 600 челобитных, в которых помещичьи крестьяне жаловались на тяжкие поборы с них помещиков, но все эти челобитные были возвращены просителям. В этот-то момент и было подтверждено запрещение подавать такие жалобы: сенат, рассматривая их как тяжкое уголовное преступление, указом (22 августа 1767 г.) угрожал крестьянам за жалобы на их „господ" каторжными работами. Ясно было, что мирным путем, путем петиций крестьяне ничего не могли добиться от государственной власти, находящейся в дворянских руках. Бедственное положение крепостных отразилось и в простонародном литературном творчестве; какой то грамотей из крепостных составил целое большое стихотворение, напечатанное под заглавием—„Плач холопов", в котором слышится и горе невыносимо тяжелой жизни крепостных, и ненависть их к „господам", виновникам „бедства" „холопьей" жизни.

„О, горе нам, холопем, от господ и бедство!

А когда прогневишь их, так отнимут и отцовское наследство.

Что в свете человеку хуже сей напасти,
Что мы сами наживем—и в том нам нет власти.

По мнению автора „Плача", единственное средство избавиться от злых господ, это истреблять их:—

«Ах, когда бы нам, братцы, учинилась воля,
Мы себе не взяли бы ни земли, ни поля,
Пошли бы мы, братцы, в солдатскую службу,
И сделали бы между собою дружбу,
Всякую неправду стали б выводить,
И злых господ корень выводить.

Крепостные массы шли дальше своего поэта: они таили в себе мечту о „выводе" из жизни всех господ,—это было итогом всей страшной истории крепостного крестьянства.

Тяжело было положение и казенных и дворцовых крестьян, у которых помещиками были—у первых государственная казна, т. е. правительство, у вторых—царская фамилия. Эти крестьяне, сверх подушной подати (70 к.

с души), платили оброк, возвышавшийся весьма быстро, но не быстрее помещичьего оброка: в 1760 г. они платили 1 р., в 1768 г. оброк с них был увеличен до 2 р., каковую сумму в 60-х годах платили (в среднем) и помещичьи крестьяне. Но казенные крестьяне имели над собой слишком много прикасчиков в виде государственных чиновников, и потому они стонали под игом этих последних, своими взятками и притеснениями делавших положение казенных крестьян иногда не лучше помещичьих.

Относительно же последних не может быть двух мнений. Сверх сказанного выше, достаточно вспомнить картину наказания крепостных образованного помещика-агронома Болотова, считавшего себя добрым и гуманным человеком именно потому, что он прерывал экзекуцию, сажая крестьянина для некоторой передышки на цепь, с тем, чтобы после такого отдыха, снова продолжать сечение, безопасное, по мнению Болотова, для господина и очень полезное, как воспитательное средство, для его „раба", достаточно вспомнить эту картину, чтобы целиком признать за голую правду суммарную картину приглушенных помещичьих преступлений и создания ими непримиримой классовой психологии крепостных. «В передних и девичьих, в селах и полицейских застенках", писал высокообразованный и либерально-социалистически настроенный русский дворянин более поздней эпохи, „схоронены целые мартирологи страшных злодейств; воспоминание о них бродит в душе и поколениями назревает в кровавую беспощадную месть"... Так писал Герцен, назвавший крепостных „крещенной собственностью" и морально оправдавший новую пугачевщину в будущем: он высказал убеждение, что „все преступления, могущие случиться со стороны народа против палачей, оправданы вперед".

III.

ПОЛОЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ПОВОЛЖЬЕ И ПРИУРАЛЬЕ.

Особенно тяжело от чиновничьего ига приходилось инородческому населению Поволожья и Приуралья, где власть не уставала вести себя победительницей и потому считала своим неот'емлемым правом не церемониться с управляемыми. Так как, однако, излишек притеснений

порождал некоторые неприятности на местах, дававшие, в конце-концов, себя чувствовать центру или в виде волнений и бунтов или в виде потери населением платежной способности, от чего запускалась недоимка,—то правительство вынуждалось принимать меры к выяснению причин прискорбных явлений с целью их устранения на будущее время. Назначались „осмотры“ обширных восточных районов, расследования местных злоупотреблений, имевшие значение позднейших сенаторских ревизий. В начале царствования Екатерины II подполковнику Свечину было поручено исследовать „причины бедности Казанской губернии государственных крестьян“. Подполковник „исследовал“ и нашел, что „причины“ означенного печального явления заключаются в „разных обидах и народных поборах“; эти-то „обиды и поборы“, невыносимые для народа, и привели „многих“ крестьян в „безнадежность“ к платежу подушной подати. Следовательно, платежная способность крестьянства в корне подрывалась чиновничьим хищничеством: с этим не могла мириться центральная власть, терявшая свои доходы. Но что она, управляя через чиновников, могла предпринять целесообразное против своих доверенных слуг, в сущности против самое себя? Уловить чиновников было трудно, ибо контролеры были тоже чиновники, умевшие затемнять дело не хуже контролируемых и ревизуемых и, в конце-концов, оставлявшие правительство с пустыми руками. И подполковник Свечин ничего не мог толком разобрать в этих местных делах и делишках, ибо то, что Свечину было весьма необходимо знать и о чем казанская губернская канцелярия и адмиралтейская контора „основательные сведения безотговорочно должны были иметь“, осталось совершенио не освещенным. Да и неудивителен был такой общий результат расследовании: упомянутые учреждения „темнили“ в своих „промемориях“, „так, что“, жаловался сенату в рапорте Свечин (от 29 февраля 1764 года), „правого с виновным и самого дела основательно знать не можно“*.

Во всяком случае, узнать правительвенному ревизору истину было трудно. Тем не менее он кое-что узнал, но

*) Арх. б. м. юст. Дело прав. сената, № частн. 936, общ. 3419.

не от чиновников, а от самого населения. Население жаловалось, подавало челобитные. И в губернскую канцелярию, „темнившую“ дела, челобитные сыпались градом, их скрыть было невозможно даже губернским чиновникам, и правительственный ревизор узнал, что на комиссара майора Бутлерова, командовавшего на казанской дороге, было подано в губернскую канцелярию „с двадцать челобитен“. Этот комиссар очень обижал татарское население: он брал взятки и деньгами, и овцами, и баранами; он прямо облагал жителей денежным натуральным оброком в свою пользу—„по 16 коп. с души и по овце с жительства в год“. Но и этим он не ограничился и установил даже барщину на татар, числившихся государственными крестьянами: „наряжал их в свою партикулярную работу в летнее рабочее время без всякой платы“. Так начальник казанской дороги установлял своею властью фактическое крепостное состояние для государственных крестьян разных деревень, находившихся в управляемом им районе. Дальше уже некуда было идти в произволе местной администрации, хотя, казалось, путь этого произвола был безконечный; ибо, как татарин Кутла Тахтаров, один из главных челобитчиков, так и прочие «никакого удовольствия не получили“. Это свидетельствовал правительственный ревизор, сообщивший верховной власти, что на двадцать челобитных „и поныне правосудного рассмотрения и решения, почти через восемь лет, не последовало, и бедные иноверцы, яко безгласный народ, неудовольствованы“. Не трудно понять каково было настроение этих „бедных иноверцев“, терявших надежду дождаться от государственной власти удовлетворения по их жалобам на вопиющие злоупотребления ее агентов-чиновников, управлявших на местах. Невольно у этого „безгласного народа“ навертывалась мысль, что, должно быть, царица-то мирволит только тем, кто поставлен над народом, что—это господская царица, а царь для народа сбыт ею и господами. Словом, невольно народная мысль ждала не ревизора от наличного правительства, в котором она изверилась, а какого-то нового пришельца, который бы вступился за народ деятельно, так, чтобы крестьянское население было „удовольствовано“. Такой пришелец в виде чисто-народного мужицкого царя вскоре и явился,

заявив, что им „присмотрена на Руси многая неправда". И он решил „наказывать и смерти предать судей-мздоимцев, которые дела судят неправедно и разорают народ".

Население татарских деревень бывшего Казанского ханства разорялось чиновниками; те же чиновники, не исключая и самых высших, налегали и на жителей городов, и прежде всего--главного города Среднего Поволжья--Казани. Так, например, та же свечинская ревизия выяснила, что Казанский губернатор князь Тенишев не брезгал брать с татар чем попало, лишь бы предмет был ценный: „взял" он „во взятку", доносит Свечин, „пакал серебрянный вызолоченный с крышкою—ценою в тридцать два рубля". Все это не располагало татар почитать придержащую власть и защищать ее, сколько сил хватит, от посягновения на нее новой власти. Остальное „инородческое" население считало себя по отношению к наличному петербургскому правительству не менее чужим, чем татарское население. То обстоятельство, что чуваши, мари (черемисы), мордва в большинстве числились в православии, тогда как громадное большинство татар было стойко в мусульманстве и не поддавалось никаким миссионерским приманкам и устрашениям, не играло большой роли, ибо настроение создавалось материальными условиями жизни, а в этом отношении все население одинаково „разорялось" правящими классами и служителями государственной организации, включавшей в себя и так называемую церковь. Если русское население угнеталось, разорялось преимущественно помещиком, татарское—преимущественно чиновником, то православное нацменское угнеталось и разорялось попом, недурно разыгрывавшим роль и помещика и чиновника в оффициально-православном нацменском селе. Когда впоследствии Пугачев со своей толпой проходил мордовскими и черемисскими деревнями, то, по свидетельству одного из пугачевских полковников, „жители более всего жаловались на духовных лиц за их поборы и пр.". Но на громадных пространствах между Волгой и Уралом, кроме оседлых «инородцев», в роде упомянутых и других, обитали кочевники: башкиры, киргизы, калмыки. Они тоже притеснялись, и в широкой степи, их стихии, им становилось тесно: сюда шла промышленная колонизация, отбиравшая у кочевников лучшие земли. Заводская колонизация шла

в Приуральский край вооруженной, ибо главными предпринимателями выступали наиболее влиятельные люди правящего класса, в роде Шуваловых, к которым присусеживались богатеи из купечества, в роде Твердышева; правительство встало на страже этой колонизации, и вполне понятен государственный флаг, который она выкинула, понятна и та линия „крепостей", которая глубоко врезалась в земли кочевников и отгородила от них лучшие, отнятые у туземцев, степные и лесные места. Правда, „крепости" не оправдывали своего громкого названия; они были не мудры, представляли собой просто русские деревни, окруженные тыном, валом и рвом; это—невзрачные степные „крепостцы", в роде сибирских острожков; но для отражения нападений кочевников достаточны были и такие заграждения с их небольшими гарнизонами, составленными из старых солдат и поставленными под начальство опытных боевых офицеров. Преимущество этих гарнизонов пред кочевниками заключалось, главным образом, в огнестрельном оружии и даже в пушках, которыми обладали первые и не обладали последние, действовавшие в массах по старинке, холодным оружием—меткой стрельбой из лука и кривой азиатской саблей. Сверх того, заводы, возникшие в Уфимско-Оренбургском крае, кроме государственной охраны, имели и свою собственную в виде особых заводских гарнизонов, вооруженных и орудиями. Таким образом, положение кочевников делалось безвыходным, отчаянным. Несмотря на это, самые энергичные и свободолюбивые из них—башкиры, пытались несколько раз в течение XVIII века отбиться от русского господства в своей стране, вытряхнуть из нее все заводы с пришлым, чуждым населением, и со всеми их охранителями, казенными и частными. Борьба была упорная, кровавая, с великим ожесточением с обоих сторон, при чем одна хотела отстоять свои исконные земли, а другая—внедрявшуюся здесь заводскую колонизацию и широкие, как эти неоглядные степные пространства, перспективы эксплоатации и наживы на новых благодатных местах. Правительство, дворянство и купечество представляло эту другую сторону; она действовала особенно безпощадно, подавляя башкирские восстания; предписывалось „оных противников на страх другим без всякой пощады преда-

вать смерти, и жилища их разорять до основания". И это исполнялось в широчайших размерах. Башкирский народ уменьшался количественно, но истребляемый, уродуемый (не только вырезывали людей, но и языки и уши у оставленных живыми, отрубали у них руки, вырывали ноздри), опозориваемый, долго оставался стоек и при первом случае поднимался вновь. Особенно серьезен и упорен был мятеж Батырши, с трудом подавленный елизаветинским правительством. Батырша, руководимый казанскими муллами, выкинул мусульманское знамя, но основной причиной движения была не религия, а экономика—потеря земли и имущества, попавших в ненасытную пасть заводским колонизаторам, которые к тому же не пощадили и башкирских женщин. „Злой вор, заводский командир", жаловались башкиры Батырше, „племя наше опозорил и разграбил, жен и детей наших перед нашими глазами блудил... Не стерпев таких мучительств, наши убили командира и бежали". После подавления мятежа, башкирам, не желавшим мириться с этими „мучительствами", ничего не оставалось, как совсем оставить свои земли, захватываемые алчными пришельцами, и откочевать за Урал. Это а сделали, наконец, 50.000 башкир, в начале екатерининского царствования ушедших к киргизам, а перед самым пугачевским восстанием туда же, за Урал, ушло 169 тыс. калмыков.

Трудно стало дышать в степи кочевникам, ибо торговый и зарождавшийся промышленный капитал делал здесь слишком быстрые завоевания и готовился совсем загнать кочевников в западню; видя и чувствуя надвигавшуюся кабалу, они, как и русские крестьяне, как и „инородцы" Поволжья в XVII стол., побежали, но побежали не в одиночку, а массами, сообразно с условиями своего кочевого быта. Однако, большая часть башкирского народа не покидала своих родных мест, а по прежнему таила в себе ненависть к насильникам и инстинктивно готовилась к новой борьбе за свою землю и свободу. Отсюда ясно, почему башкиры сразу поддержали предприятие Пугачева, обещавшего им и то и другое, полное выселение русских из их страны; ясно, почему разбитый Пугачев нашел в Башкирии себе приют, там окреп и вновь ринулся на достижение цели восстания.

Яицкие казаки определили цели восстания, ибо они выработали самую его программу. Прежде всего они, разумеется, хлопотали о самих себе, но они вместе с показным вождем восстания понимали, что оно может пойти успешно, если будут приняты во внимание интересы тех, кому трудно жилось в Российской империи, т. е. интересы прежде всего крепостного крестьянства и инородческого населения, а потом и вообще всех угнетенных, к которым принадлежало все простонародье тогдашних городов. Собственно интересы яицких казаков сводились к их стремлению освободиться от экономической и военной опеки над Яиком Петербургского правительства. Эта опека была выгодна меньшинству яицкого казачества, так наз. «старшинской стороне», казацким мироедам, умевшим ладить с петербургскими властями и очень хорошо наживаться на откупе рыбных промыслов. Благосостояние заставляло этих казаков мириться и с военной опекой, тянувшей казаков в «регулярство», но все это было невыгодно и претило большинству яицких казаков, «войсковой стороне», державшейся за обычное казацкое право и за прежние экономические и административные порядки на Яике. В классовой борьбе между этими двумя социальными группами яицкого казачества, благодаря союзу казацкой буржуазии с петербугским правительством, казацкая демократия была побеждена, жестоко наказана, раскассована, частью пустилась по старинке в бега, а казацкое самоуправление на Яике было уничтожено, будучи заменено управлением комендантской канцелярии. Тут даже и те яицкие казаки, которые раньше были достаточно пассивны, представляя в политическом смысле болото, сделались активными и готовы были при подходящем случае померяться с Петербургом, «тряхнуть Москвой», как говорили они, по старой разинской повадке именуя российскую державу «Москвой». Преследование в этой державе старой веры диктовало казацкой демократии, приверженной к расколу, и религиозную цель восстания, основной целью которого была экономическая и политическая автономия яицкого войска. Угнетенное положение остального народа приводило казацких заговорщиков к мысли обещать всем и каждому землю, всякие угодья, свободную от всяких податей и повинностей спокойную жизнь. И кто только

на Руси не готов был откликнуться на такую агитацию! В нищей России все были готовы, кроме помещиков, богатых купцов и самого высшего и хорошо обеспеченного духовенства.[1]) Городским чернорабочим и ремесленникам милы были эти обещания и призывы, но к ним оказались восприимчивы и многие другие элементы. Мелкий и даже средний торговец, особенно тот, который чтил „старую веру“, не прочь был принять ее защитника, главным образом, потому, что он избавлял не только от гонения на ее сторонников, но и от всяких пошлин на торговлю; церковники-попы, дьяконы и дьячки, недовольные своим тяжелым материальным положением, надеялись поправить его при помощи восстания; они и вообще не желали идти против новой власти, раз на местах она брала верх над старой, к каковому признанию иногда присоединялось или делало вид, что присоединяется, и черное духовенство, тоже неспособное итти против общего течения. Но главные массы, на которые рассчитывали организаторы восстания, это, 1) иноплеменники Волжско-Уральского края, угнетенные, опозоренные, и разоренные заводской колонизацией; 2) заводские рабочие, изнемогающие под тяжким бременем заводской работы, битые на ней нещадно и сажаемые в кандалах в страшные заводские тюрьмы; 3) приписанные к заводам крестьяне, изнемогающие, сверх сказанного, уже на одних мучительных и продолжительных периодических переходах из своих деревень на заводы и обратно при 500-700 верстных расстояниях между теми и другими, и, наконец, 4) вся крепостная крестьянская масса, кровь и тело которой «пили и ели» помещики, по собственному признанию одного из них в гневную минуту. В Волжско-Приуральском крае положение крепостных было тяжелее, чем в центральных местах государства, ибо на далеком степном просторе, как свидетельствуют современники из помещичьей же братии, напр., сам смиренномудрый С. Т. Аксаков в своих известных воспоминаниях, барский произвол развертывался во всю ширь этого про-

---

[1]) Правда, над Казанским архиепископом Вениамином тяготело обвинение в сочувствии Пугачеву, но потом—этот архиерей был реабилитирован, он был награжден за „невинное“ подозрение саном Казанского митрополита при собственноручном письме к нему Екатерины.

стора: здесь нередко секли крестьян так, что их приходилось после этой операции сейчас же завертывать в только что содранные бараньи шкуры; значит, буквально сдирали с человека шкуру и, чтобы он не умер тотчас же, давали ему чужую, тоже содранную, хотя и не в наказание. Все эти люди и целые массы людей были доведены до «крайности», особенно опять-таки помещичьи крестьяне, ибо «ведь нет дома», сообщает сама помещичья царица,— „в котором не было было железных ошейников, цепей и разных других инструментов для пытки при малейшей провинности тех, кого природа пометила в этот несчастный класс, которому нельзя разбить свои цепи без преступления". Императрица была права. И «преступление» началось: оно было классовым ответом на преступление другого высшего, правящего класса.

IV.

ОРЕНБУРГСКИЙ ПЕРИОД ДВИЖЕНИЯ ИЛИ ВОССТАНИЕ ЯИЦКИХ КАЗАКОВ И КОЧЕВНИКОВ.

В толпах Пугачева с самого начала и до конца находилось весьма разнообразное общество—русские и не русские, казаки и не казаки, беглые преступники, крестьяне и чернорабочие и вообще всякая „чернь", далее—церковники и даже в небольшом числе изменившие Екатерине офицеры, преимущественно выслужившиеся из солдат, значит—вновь испеченные дворяне (столбовых дворян были единицы) и проч., но в каждый из периодов, на которые распадается история движения, преобладающее значение имели не все перечисленные элементы, а только некоторые, коими и должен быть охарактеризован тот или другой период восстания, И мы увидим, что таких элементов, имевших действительно большое значение в мятеже, было не так много. Так, в первой толпе, с которой Пугачев поднял знамя восстания, были, кроме яицких казаков, калмыки и татары, но в очень небольшом числе; сверх того Пугачев, разослав своих эмиссаров по деревням, при содействии своих помощников-татар (Идорки, Балтая и Танганчы) вошел в сношения с киргиз-кайсаками. Эти последние вскоре явились из-за Яика в пределы Оренбургской губернии и начали опустошать своими набегами ее южную часть.

Вообще, в первый период начатого движения Пугачев крепко надеялся на поддержку входивших в состав России восточных народов. В Башкирию был послан манифест на татарском языке. В этом манифесте Пугачев об‘являл себя „великим государем, явившимся из тайного места, прощавшим народ и животных в винах, делателем благодеяний, сладчайшим, милостивым, мягкосердечным российским царем, императором Петром Федоровичем". Соответственно восточным вкусам здесь татарское перо украсило Пугачева пышными эпитетами. Требуя от башкирского народа службы „не щадя живота своего" и „душ своих", требуя готовности „к пролитию крови", послушания и преданности, Пугачев в случае исполнения башкирами этих требований, обещал им все то, что они просят «от единого бога». Манифест оповещал: „Отныне жалую вас землями, водами, лесами, рыбными ловлями, жилищами, покосами и с морями, хлебом, верою с законом вашим, посевом, телом, пропитанием, рубашками, жалованием, свинцом порохом и провиантом, словом всем тем, что вы желаете во всю жизнь вашу". Короче, Пугачев возвращал Башкирию исконным ее владельцам, у которых она быстро экспроприировалась русской земледельческой и промышленной колонизацией. И все свои обещания скреплял извещением, что он, „истинный государь", „сам идет", и „приказывал" башкирам встречать его „с усердием и верностью" и „видеть" его «лицо». „Видеть лицо" «великого государя Петра Федоровича», который „из потерянных об‘явился, своими ногами всю землю исходил", как сообщал Пугачев в другом манифесте тому же башкирскому народу,—это предводитель начавшегося движения считал первейшим из‘явлением верноподданничества. „Слушайте", вещал он в этом другом манифесте (переведенном с башкиро-татарского языка 15 декабря 1773 г.), „Подлинно мы государь! Поверьте и знайте, идите ко мне встречу светлому лицу, не устрашайтесь, от меня милости просите, которые от нас бегают, таковым милости не будет, кто желает, ко мне идите". Ясно что Пугачев желал, чтобы его признали „истинным государем" Петром Федоровичем. Это—не буффонство, не проявление казацкого юмора, а вполне серьезное предприятие, ибо Пугачев чувствовал, каким могучим средством явля-

ется имя „истинного государя“, при том уже потерпевшего за „чернь“, скитавшегося в трогающем народное сердце нищенском образе мужицкого царя, считавшегося погибшим и вдруг из потерянных об'явившегося“, идущего к народу и звавшего народ к себе, пред „светлое“ лицо свое. А тут еще „милость“ от этого царя следовало за милостью. Башкиры, из цитируемого сейчас манифеста, слышали: «Есть-ли в тюрмах содержатца и в боярских руках люди в сем месяце, не держать, отпускать: от меня приказ». Но милостивый царь являл себя и грозным для непослушных, как подобало „истинному государю“, ибо навыки русского самодержавия были хорошо известны, к ним привыкло население, и действия новой народной власти неизбежно пошли по прежнему руслу. „Если силою содержать будут“, продолжал народный „самодержец“,—„кто повелел“, таковым головы рубить и кровь проливать, всю семью разделить“. Главное не надо сомневаться в истинности царя: тогда все получит народ, все, в частности получат башкиры и все остальные народы России. „Не сумневайтесь“, взывал Пугачев, „придите в чувствие, много милости получите“. И в том, что его обещания будут исполнены, он присягал народу: „божьею милостию“, говорит он, „мы всемогущим богом присягаем. Кто моей присяге не верит, тот злодей“. Не верящие—это «злодеи», его „неприятель“—„таковым милости не будет“. Повелевалось: „им головы рубить и пажить (имущество) разделить“. Башкирский народ поверил. Он едва переносил свою зависимость от российской державы и при подхощем случае готов был вновь восстать против нее. Выступление Пугачева с его зажигательной агитацией и явилось таким случаем: оно вызвало приход значительных башкирских партий в стан Пугачева. Башкиры оказали серьезную поддержку Пугачеву и его яицким сподвижникам.

После яицких казаков они с такими своими руководителями, как их старшины Еман Сарай, Кинзя-Арсланов, Юлай, Салават, под Оренбургом составляли главную силу пугачевского сборища. Особенно замечателен из этих башкирских вождей Салават, сын Юлая. Он был не только военным, но и духовным вождем своего народа. Это—интересная личность из татаро-башкирского мира.

Он был поэтом и импровизатором своих песен. Он их пел, как степная птица, но он также был страстным бойцом за свободу родной степной жизни, всех своих соотечественников он звал к упорной борьбе против екатерининского правительства. То, что давал Пугачев Башкирии, заставило Салатата крепко примкнуть к поднявшемуся движению за императора Петра Федоровича.

Кегда вполне выяснилось, что Пугачев допускает уничтожение русского владычества в Башкирии и обещает отдать всю Башкирию в исключительное владение башкирам с выводом оттуда всех русских поселенцев, то башкиры массами начали присоединяться к Пугачеву: он знал, какие струны башкирского сердца задеть, чтобы в конце концов поднять всю Башкирию. Близкие к башкирам татары выделили из своей среды энергичных помощников для Пугачева в его сношениях с турецко-татарскими народами Приуралья и вообще в деле организации восстания в первое время. Таков, напр., татарин Идорка, по инициативе которого его сыном, яицким казаков Балтаем, было написано агитационное письмо к киргиз-кайсацкому хану Нур-Али; таков татарин Муса-Алиев, командовавший каргалинскими татарами, Абдул, командовавший сборным отрядом. Это—незаменимые помощники Пугачева; не обратись он к ним, едва-ли бы он смог привлечь к мятежу кочевников в том количестве, в каком ему это удалось.

На казанской дороге одновременно с башкирами поднялись за Пугачева и служилые татары, и мари (черемисы), и дворцовые крестьяне. Все они, „согласясь“, как говорится в татарском письме старшины Турая Ишалина, „к милосердому государю склонились“ и высказали полную готовность за него стоять, „не пожалея сил своих, до последней крови капли“. Далее, согласившиеся народы Казанской губ., в том числе и русские дворцовые крестьяне, испрашивали у „царского милосердия“ присылки войск и пушек. Они при этом сообщали и о своем „намерении“: 1) собрать от окольных жителей „для нынешней войны с каждого двора по одному казаку и со всеми ружьями“ и 2) в ближайшую „пятницу город Уфу разорять ехать“. Под письмом подписались башкирские и татарские старшины, а также один мулла; марийский

(черемисский) управитель, вместо „руки“, приложил „тамгу“; это же сделал и старшина Турай Ишалин, от имени которого было послано письмо. Под письмем нет ни одного русского имени, а это указывает, что предприятие было татаро-башкирским.

Нужно отметить, что подпись муллы под письмом не единичный показатель участия мусульманского духовенства в пугачевском движении. Деревенские муллы, пожалованные от Пугачева „верой и законом“, близкие по своему социальному положению к угнетенному крестьянству, как и русские сельские попы, нередко выступали застрельщиками восстания бывшего по существу мелкобуржуазным. В документах они упоминаются в качестве „походных командиров“, „войсковых предводителей и атаманов“ и переводчиков „Русско-Азиатской армии“ Пугачева, при чем обыкновенно последнюю дожность они совмещали с первой.

И так, мы видим, что в первый период движения гражданская „война“ велась преимущественно силами восточных народов, главным образом башкир. Это имело, как увидим дальше, и свои отрицательные последствия для русского населения, в том числе и крестьянского, признавшего Пугачева своим „государем“. При всем том главные нити движения остались в руках яицких коноводов, принявших Пугачева в качестве обретшегося „государя“; это—яицкие казаки: Чика-Зарубин, Максим Шигаев, Андрей Овчинников, Тимофей Падуров, Дмитрий Почиталин, Лысов, Чумаков, Иван Творогов, Афанасьев, Перфильев и др. Некоторые из них, если не все, знали о самозванстве Пугачева, но тем не менее они его приняли, как удобное орудие восстания, как средство поднять черную Русь, да и другие угнетенные народы, на похитительницу власти, барскую царицу, за об'явившегося законного царя, пожелавшего дать все тем, у кого все было отнято, царя угнетенных и обездоленных, который знал, „что вся чернь его радостно и везде примет, лишь только услышит“. К числу ближайших помощников Пугачева следует отнести бывшего крестьянина, беглаго, с вырванными ноздрями, каторжника Хлопушу, который умело агитировал на заводах и доставлял с них Пугачеву не только толпы поднявшихся рабочих, в том числе

и „годных к употреблению—с лопатками, кирками и другими горными инструментами“, но и пушки, ядра и порох, сработанные на заводах специально для пугачевской армии. Хлопуша же привел к Пугачеву вместе с заводскими рабочими и толпу башкир. По показанию особо доверенного у Пугачева—казака Максима Шигаева, Хлопуша был назначен полковником над заводскими крестьянами, и Пугачев, стоя в слободе Берде, именно от него „получал с заводов пушки и разные добычи и провиант“.

Благодаря Хлопуше, у Пугачева образовалась довольно хорошая артиллерия, главным начальником которой был поставлен казак Чумаков, но потом свидетельствали, что артиллерийское дело лучше всех знал сам глава восстания, и это неудивительно: Пугачев был участником двух больших войн и, как человек способный и наблюдательный, практически хорошо познакомился вообще с военным делом.

Все это-черты, которыми характеризуется первый период восстания. Присутствие в стане Пугачева рабочих и беглых крестьян указывало, в каком направлении будет дальше развиваться мятеж, но присутствие означенных и других элементов, напр., 500 марийцев, не изменило первоначального казацкого и татаро-башкирского характера пугачевщины. На первых порах восстание было местное, областное. Окрепло оно не сразу, но все-таки весьма быстро. Мы знаем, что 17 сентября, при первой встрече Пугачева с правительственными войсками, у него было всего 140 человек казаков, татар и калмыков. Но уже 18 сентября под Яицким городком толпа его значительно увеличилась перебежавшими на его сторону казаками; впоследствии в помощь прибыли башкиры и затмили собой другие инородческие отряды Встреченный под Яицким городком пушечными выстрелами, Пугачев отошел от Яицкого городка, сказав своей толпе: „Что, други мои, вас терять напрасно; пойдем туда, где нас примут“. Казаки посоветывали ему идти по линии „до Илецкой станицы“. Толпа и двинулась в указанном направлении. По пути к Илецкому городку Пугачев с встречных форпостов „забирал“ с собою всех людей, „кого силою, а кого охотою“; забирал также пушки и снаряды. Получив «указ» от Пуга-

чева, илецкие казаки приняли его, как „государя“, с хлебом и солью. Самозванец прошел прямо в церковь и велел там «петь молебен и упоминать на эктеньях государя Петра Федоровича, а государыню исключить». При этом распространился о своих планах, как относительно государыни, так и своей будущей политики по отношению к поддерживающему ее дворянству.

„Когда,—говорил он,—„бог донесет меня в Петербург, то зашлю ее (Екатерину) в монастырь, пускай за грехи свои богу молится. А у бояр села и деревни отберу, а буду жаловать их деньгами. А которыми лишен престола, тех без всякой пощады перевешаю“. Вспоминал он и о Павле Петровиче: „сын мой человек еще молодой, так он меня и не знает“,—сказал Пугачев; потом, подняв глаза на иконы, воскликнул: „Дай бог, чтоб я мог дойти до Петербурга и сына своего увидеть здорова“... Атаман Илецкого городка, по наговору его подчиненных, был повешен, дом его разграблен, а малолетний сын взят был самим Пугачевым, вместе с атаманскими деньгами, жалованным ковшем и хорошим платьем. Увеличив свою казну тремя стами рублей, а толпу 300 илецкими казаками, Пугачев через два дня, которые он провел в Илецком городке, двинулся дальше. Он теперь шел к „Рассыпной крепости“, предварительно послав туда тоже „указ“ с требованием присоединиться к нему и с обещанием пожаловать за это „вечной вольностью, реками, морями, всеми выгодами, жалованьем, провиантом, порохом, свинцом, чинами и честью“.

В „Рассыпной“ казаки тоже перешли на сторону Пугачева, и крепость была взята им без труда. Комендант Целовский с женой, поручик Талбаев и священник, очевидно не поторопившийся выйти к самозванцу с крестом и иконами, были повешены. После этой крепости та же судьба постигла и „Нижнеозерную“, где были казнены комендант ее, майор Харлов, и другие офицеры. В „Татищевой“, куда Пугачев подошел после занятия Нижнеозерной, к нему передался бывший депутат большой екатерининской комиссии, казак Падуров с товарищами, и это обстоятельство содействовало взятию Татищевой, но под этой крепостью Пугачев встретил сильное сопротивление, и первый приступ его был отбит пушечной

пальбой. Приказав зажечь стога сена вокруг крепости, Пугачев запалил и ее самое, защитники дрогнули, пугачевцы ворвались в крепость, и „множество людей покололи“. В Татищевой Пугачеву досталась богатая добыча: не только несколько пушек, но и „немалое число“—как сообщает Рычков,—„полковой, кабацких и соляных сборов, денежной казны, многое число военной аммуниции, провианта, сала и вина“. В числе добычи Пугачева оказалась и вдова погибшего Харлова, отосланная им перед приходом Пугачева в более безопасное место—в Татищевскую, к ее родителям, и попавшая здесь в наложницы к самозванцу; родители ее, комендант Елагин с женой, и бригадир Билов, не согласившиеся на сражение с инсургентами в открытом поле, погибли во время резни в крепости. Взяв после Татищевой еще несколько крепостей, Пугачев приступил к Оренбургу, главному административному центру этого степного казацкого края. Оренбург был окружен инсургентами, и пути к нему были пресечены. Положение получилось весьма затруднительное, тем более, что оренбургский губернатор генерал Рейнсдорп не озаботился во-время перевести из близь лежащих малых крепостей в губернский город съестные и боевые припасы. Тем не менее, несмотря на целый ряд и других ошибок и медлительность этого администратора, общая линия борьбы с мятежем была выбрана им правильно: он решился обороняться, а не наступать. Недостаточность хороших военных сил и особенно их социальная ненадежность, вполне выяснившаяся во время успешного движения Пугачева к Оренбургу, невольно заставили Рейнсдорпа, а с ним и остальную губернскую администрацию, возложить единственную надежду на стены и другие укрепления города. Действительно, конная пугачевская толпа, достигшая к моменту первого подступа к Оренбургу всего 2.360 человек, с небольшим сравнительно количеством пушек (до 20), была безсильна против городской более значительной артиллерии, плохо-ли, хорошо-ли действовавшей из-за городских прикрытий. Началась осада Оренбурга Пугачевым, задержавшая его здесь надолго. Вполне естественно было для яицких казаков и приуральских кочевников желать во что бы то ни стало покончить с Оренбургом, ибо в их глазах здесь

было сосредоточено все то зло, от которого они страдали; сюда их таскали в тюрьмы; отсюда их ссылали в отдаленные места; отсюда шло на них всяческое угнетение и лишение свободы пользоваться дарами природы того края, который искони они считали своим, жить и управляться так, как они искони привыкли. Оренбург, словом, и для яицких казаков и для кочевников, нередко становившихся яицкими казаками, был синонимом насилия, и они его ожесточенно ненавидели, а потому хотели во что бы то ни стало взять. Но планы у Пугачева и его ближайших сподвижников были гораздо шире первой задачи—покончить с Оренбургом. После взятия Оренбурга, предполагалось идти на Казань, а затем на Москву и Петербург „и всем государством завладеть". Прежде же всего повстанцы упорно домогались завладеть ненавистным яицким казакам и башкирам Оренбургом. Несколько раз Пугачев приступал к Оренбургу с этой целью (12 и 22 октября, 2 и 3 ноября), но удачи не имел. Тогда он, основавшись в 7 верстах от Оренбурга в слободе Берде, решил взять его измором; но и это не удалось, хотя, казалось, многое благоприятствовало ему, особенно в первое время. В самом деле, силы Пугачева значительно увеличились приводом к нему Хлопушей башкир и заводских рабочих, а также благодаря тому, что к нему в Берду стекалось все недовольное и раздраженное.

Последнему содействовала и агитация, которую Пугачев широко вел из Берды. В числе рассылаемых им агитаторов были башкиры, что еще более подчеркивает значение их в пугачевском стане. Башкиры очень хорошо поняли основной смысл предпринятой Пугачевым борьбы—истребление „господ". „Ежели кто помещика убьет до смерти и дом его раззорит,—говорил эмиссар-башкирец крестьянам,—„тому дано будет жалование 100 р., а кто 10 дворянских домов раззорит, тому 1000 р. и чин генеральский".

„Разорять помещичьи дома"—это лозунг, который был брошен яицкими казаками в крестьянские массы с самого начала восстания. Пугачев показал пример осуществления этого лозунга. Пируя под Оренбургом в барских хоромах губернаторской усадьбы, он приказал разгромить богатую обстановку дома и в пояснение этого

распоряжения сказал: „Вот как славно живут мои губернаторы, а на что им такие хоромы, когда я сам, как видите, живу просто“. Это было понятно сопровождавшей Пугачева толпе, классовая ненависть которой не выносила преимущества господского быта и вдохновляла ее стремиться к его уничтожению. А отсюда—шаг к уничтожению и самого класса, обладавшего этими преимуществами—„благородного“ дворянства. Пугачев был лишь ярким выразителем приглушаемых насилием барского господства, чувств и затаенных желаний. Поэтому-то в его Бердинскую ставку, как потом показывалось, „всякий день“ шли толпами и „все охотно к нему прилеплялись“. Разумеется, все-это люди нисших классов или „чернь“, как эти классы тогда обозначались; следовательно, „толпа“, составившая „русско-азиатскую армию“ Пугачева, была, за немногими исключениями, строго классового характера, это была истинно народная, демократическая армия. Она охотно комплектовалась и содержалась самой, присоединившейся к Пугачеву, „чернью“. Заводские и помещичьи крестьяне, как потом показывалось, присоединялись к нему „с радостью и были усердны, снабжая толпу его и людьми и всем, что у них потребовано было“. Классовым врагом ее были все, стоявшие выше „черни“, а особенно дворяне-помещики, называвшие крестьян и всех других, присоединившихся к Пугачеву,-сволочью; они, как вражеский движению класс, конечно, все делали, чтобы отстоять свою господскую крепостную позицию. Пугачев на это реагировал со свойственной ему чисто революционной решительностью.

В одном из своих „манифестов“, сообщив во „всенародное известие“, что жители по оренбургской и сибирской линиям „всякого чина люди“ признали его за „великого государя“ и обязались быть его „рабами“, Пугачев далее с негодованием говорил: „прочие же, а особливо дворяне, не хотят своих чинов, рангу и дворянства отстать, употребляя свои злодейства, да и крестьян своих возмущая к супротивлению нашей короне не повинуются“. Этого „великий государь“, вождь „победоносной армии“, не мог потерпеть, и его „супротивники“ были жестоко наказаны: „града и жительства их выжжены“, сообщал Пугачев, „а с оными противниками учинено по всей стро-

гости монаршего нашего правосудия". Пугачев миловал и назначал командирами только тех, кто переходил на его сторону и отличался в верности к нему „против прочих весьма отлично" хотя бы таковые были из офицерства „злодейской стороны".

Но Пугачев был также выразителем чаяний и раскольничьего мира, а потому иногда не церемонился с православными храмами, опорными точками еретического новшевства в вероисповедании и государственного насилия над духовною жизнью народа. Для раскольников, бывших в его войске „кержаков" (с „Керженца"), явилась полная возможность ограблять церкви, но те этим не ограничивались, предавшись поруганию ненавистной им государственной веры: в'езжали в храмы прямо на лошадях, стреляли в образа, в уста Христа, изображенного распятым, вбивали гвоздь, иконы, писаные на холсте, сдирали и превращали их в подседельники или в лошадиные потники, находящиеся под седлами. В то время, когда повсюду в северо-западной части Оренбургской губ., где уже в конце ноября 1773 г. свирепствовал мятеж, производились эти и подобные действия,—Берда все более и более наполнялась приставшими к движению, и здесь—в промежутки между перестрелками с Оренбургом, между стрельбой в цель, скачками взапуски для развлечения и казнями попавших в руки Пугачева классовых врагов—шли попойки и развертывались широко половые излишества, словом жили весело. Хорошо была отпразднована свадьба Пугачева, женившегося на дочери яицкого казака девице Устиньи Кузнецовой.—„Шигаев", показывали потом, „приказал выкатить множество бочек вина и поить весь народ, и было пьянство дня два". Надо, впрочем, заметить, что сам Пугачев в питии соблюдал умеренность и воздерживался сильно напиваться. Не менее весело проводили жизнь повстанцы под Уфой, в резиденции второго Пугачева, еще более, чем первый, решительного и сметливого—Чики-Зарубина, принявшего звание и имя гр. Чернышева, председателя военной коллегии. Распоряжаясь из села Чесноковки, куда для утехи этого самозванца и его товарищей свозились из окрестностей хорошенькие женщины и девушки,—Чика-Зарубин начал приобретать господство в самом сердце Башкирии, но мятеж уже

шагал дальше—в северный заводский район и в Западную Сибирь. Яицкие казаки и башкиры, в качестве царских полковников, рассыпались повсюду по обширному краю и действовали, не давая, как и Чика-Зарубин, никому отчета, самостоятельно, хотя и от имени Петра III.

Они, прежде всего, терроризировали не желавших „впредь быти в тихомирской отеческой воле“. С таковыми приказывалось поступать „со всей строгостью“. „Жилища их“, говорил указ пугачевского старшины, „енерала“ или полковника, „от имени самодержца всероссийского“, — „как можно огню предать для лутчего страху“. „Строгие“ меры действовали. Уклонявшиеся раньше от „отеческой воли“ Петра Федоровича каялись: на этот случай предписывалось „зажжение сократить“. Руководителям движения не было чуждо сознание общегосударственных интересов. У них была и соответствующая организация для планомерных действий — „военная коллегия“, которая и об‘являла „указы“ от имени Петра III за подписью пугачевских старшин. В состав „военной коллегии“ судьями входили казаки: Иван Творогов, Максим Шигаев, Андрей Витошнов и Данило Скабычкин, а сверх того в качестве „думного дьяка“ казак Иван Почиталин и секретаря — казак же Максим Горшков. В этом учреждении соблюдалось старшинство, по которому члены и рассаживались по местам, но значение их в области управления и распоряжений обусловливалось не местом, занимаемым в военной коллегии, а близостью члена ее к Пугачеву. Так, секретарь ее, Горшков, впоследствии показывал, что хотя Шигаев сидел и ниже старика Витошнова и Творогова, но так как первый „был их замысловатее и любимее больше самозванцем, то они следовали больше его советам“, а равно, прибавлял Горшков, „Почиталин и я слушались больше его“. Таков был состав военной коллегии во время Оренбургской осады. Впоследствии, он, разумеется, изменялся в зависимости от хода событий, выбивавших из строя и членов коллегии. Оценивая суммарно деятельность этого пугачевского учреждения, мы должны подчеркнуть, что старшины русского происхождения становились на защиту русского населения против „башкирских и мещерякских команд“, предводительствуемых своими старшинами. Эти „команды“

не обращали внимания, покорились ли, или нет Пугачеву „русские жительства и помещичьи деревни“, а прямо их грабили и разоряли, „движимое имение“ между собой делили и многих при этом русских крестьян убивали. Они разгромили даже „казенную соляную пристань“ близь г. Уфы. Все это не одобрялось военной коллегией Пугачева, и она, наприм., в лице Ивана Творогова, думного дьяка Ивана Почиталина и секретаря Максима Горшкова, предпринимала „строгие“ меры против повстанцев-погромщиков: тут уже защищались подданные Петра III и казенное имущество. Приказывалось: таковым „чинить смертную казнь“, а „при соляной пристани“ поставить „двойной караул“. Даже „боярскую пажить“, т. е. имущество бежавших дворян военная коллегия считала государственным достоянием, грозя наказанием за разграбление его „преслушникам его величества“. О таком дворянском имуществе предписывалось, описав его, „репортовать“ в военную коллегию. Особенно военная коллегия, разумеется, берегла „казенный хлеб“, необходимый для прокормления „армии его императорского величества“. Если бы тут нашлись противники, то с ними повелевалось поступать, как „с нерачителями общего покоя и с нарушителями его императорского величества указа по законам неупустительного самотяжчайшего наказания“. Если иногда сам Пугачев в угоду раскольникам и допускал надругательства над православными храмами, то с другой стороны, мы видим, и их защиту военной коллегией от его же имени. В этом сказывался тоже государственный смысл пугачевского движения. Военная коллегия, обращаясь к „верноподданным его величества рабам“, требовала, чтобы „башкирцы или мещеряки до российских церквей божьих обиды и грабежи как сам их начальник так и его команды люди, т. е. иноверческие разорения никакого бы не оказывали“. Отпадать от „веры христианского закона“ военная коллегия тоже строго запрещала, обещая „за нарушения закону тягчайшее наказание“. Один из казацких старшин, Иван Кузнецов, был даже командирован для улаживания конфликтов, возникших между русскими и „азиатскими народами“, а также для пресечения отпадений от „христианской веры“, что в разосланном им увещевании называется „развратом“. Здесь

Кузнецов тоже отмечает, что „азиатские народы чинят не только противящимся, но и верноподданным делают притеснения и разные предобижении“, но он уверяет так же русское население в том, что теперь они „присмирены“.

На принципе законности стоял и властный (правая рука Пугачева в первый период движения) Чика-Зарубин, он же „граф Иван Чернышев“, который приказывал своим подчиненным „никаких обид, налогов и раззорений не чинить и ко взяткам не касаться“, угрожая за такие поступки „неизбежной смертной казнью“. Подобные распоряжения, „увещевания“ и „наставления“, как военной коллегии, так и отдельных пугачевских вождей, делали имя Петра III еще более популярным в массах русского крестьянства и заводских рабочих,—и восстание крепло, быстро раздвигая свои пределы.

Поэтому неудивительно, что генерал Кар, присланный петербургским правительством для подавления бунта и сначала надеявшийся на быстрый успех, боявшийся лишь того, чтобы Пугачев как нибудь не ушел от него, увидал на месте, что восстание серьезно, что военные силы, предоставленные ему, совсем недостаточны, и потерпел полную неудачу. Авангард Кара, отступавшего перед пугачевским войском, именно отряд полковника Чернышева, введенного в заблуждение тайными сторонниками Пугачева, попал в плен к самозванцу невдалеке от Оренбурга, куда этот отряд намеревался проскользнуть, его начальник, 32 офицера и некоторые другие, захваченные вместе с отрядом, лица были повешены в Берде. Отряд, состоявший из нескольких сот гарнизонных солдат, сотни казаков и 500 калмыков при 15 пушках, не сопротивлялся и, сдавшись Пугачеву, был зачислен в его войска. Сопротивление оказали лишь офицеры; „собравшись в одну кучку“, по свидетельству самого Пугачева, и „стреляя из ружей“. Они за это и заплатили жизнью; лишь один из них спасся и пробрался в Оренбург.

Само собой понятно, что после такого успеха Пугачева, инсургенты приобрели еще более уверенности в себе и сделались еще более настойчивы в достижении своей ближайшей цели—взятия Оренбурга. Но это, од-

нако, не удавалось, несмотря на то, что силы Пугачева с $2^{1}/_{2}$ тыс. увеличились в 5 раз, если не более, колеблясь между 10.000 и 15.000 человек. Помехой этому явилось отчасти то же обстоятельство, которое вредило и обороне Оренбурга и вообще делу борьбы правительства с восстанием. Рано, с октября, наступившая зима с ее частыми в степи буранами замедляла военные операции под Оренбургом; если при вылазках правительственная артиллерия тонула в глубоких снегах и должна была, в конце концов, поскорее ретироваться в город, то эти же снега мешали действиям и пугачевского конного войска. Правда, под Оренбургом из взятых в плен солдат Пугачев сформировал пехоту, но эта часть его войска имела второстепенное значение; к тому же не менее страдала от сильной стужи, чем и остальные пугачевцы, большинство которых принуждено было жить в землянках. Сверх того, осада Оренбурга стала осложняться еще осадой Яицкой крепости, куда с января начал отлучаться Пугачев. Вместо концентрации сил и действия единым фронтом против ближайшей главной цели, получалось разделение сил и несколько фронтов (оренбургский, уфимский, яицкий), взаимно ослаблявших друг друга. Неудивительно, что в результате главная цель—взятие Оренбурга,—осталась недостигнутой, а вместе с тем пришлось спасовать и на других фронтах. Оренбург изнемогал от голода, вследствие осады и известной нам непредусмотрительности губернатора, но этот город также показал, что его нельзя ставить в ряд со взятыми Пугачевым крепостями-деревнями: это был именно город, имевший за своими стенами регулярное войско и достаточно такого населения, которому было что терять, населения служилого и торгово-промышленного, которому ненавистны были уравнительные лозунги Пугачева. Классовым характером Оренбурга в значительной мере об'ясняется его стойкость в отсиживании от самозванца и его разношерстной „армии". И Оренбург отсиделся. Пугачев целую зиму и часть весны потерял даром. Задержка под Оренбургом и под Яиком оказалась крупной и непоправимой стратегической и тактической ошибкой, благодаря которой организаторы восстания сами, как бы, локализировали начатую ими революцию, сразу превращая ее в чи-

сто местное движение, именно в оренбургские „безпорядки“, каковыми стремились представить все дело восстания иностранным правительствам Екатерина и ее агенты. Но по существу, а не по видимости, это дело было очень серьезным: местное движение быстро превращалось в общее восстание, медлить было нельзя,—и петербургское правительство, как нельзя лучше, воспользовалось оренбургско-яицким промедлением Пугачева. В этот сравнительно продолжительный период преимущественно бердинского сидения петербургское правительство успело оправиться и собрать надлежащие силы для продолжения борьбы с восстанием, поставив их под главное руководство человека, испытанного в исполнении прежних поручений более или менее деликатного свойства. Это был А. И. Бибиков, недавний председатель комиссии для составления проэкта нового уложения, в начале царствования Екатерины успешно закончивший усмирение заводских крестьян в Приуральи. Он и теперь наладил быстро дело борьбы с бунтом. Неудачи пугачевцев начались как раз в заводском районе—Кунгуре и Екатеринбурге, где движение только-что начиналось и еще далеко не окрепло. Там командовал тоже один из энергичнейших военачальников самозванца—беглый солдат Белобородов. Теснимый правительственными отрядами, он бежал из того края, чтобы соединиться с Пугачевым. А тот в то время сам попал в крайне затруднительное положение. 25 марта он потерпел страшное поражение от кн. Голицына под Татищевой, где самозванец засел, явившись из Берды, приблизительно с 8.000 пехоты и конницы и где он был стиснут правительственными войсками. Перебито инсургентов было множество, 3.000 человек „разного сброда“ и 290 яицких казаков попало в плен. Сам Пугачев едва спасся, ускакав с четырьмя казаками в Берду. Здесь он собрал оставшиеся у него силы и оставил навсегда оренбургскую свою резиденцию—Бердскую слободу. Правда, он посылал еще раз туда своего сподвижника Ивана Творогова—захватить там провиант, в котором повстанцы, метаясь между Сакмарским городком и Каргалой, начали нуждаться, но сам уже более никогда не видал бывшей своей ставки. Под Каргалой, где у Пугачева было до 3.000 человек, он был разбит на голову, и у него осталось не более 500

человек, из коих по сотне приходилось на казаков и заводских мужиков, а до 300 человек на башкир и татар; с этими остатками, имея около себя 4 лошадей для смены, Пугачев бежал, „не кормя во всю прыть до Тимашевской слободы“, а отсюда поскакал в Тагил, где ночевал. В Тагиле было небезопасно, ибо мятеж, перешагнувший за Урал, в Сибирь, подавлялся и в этих местах; поэтому Пугачев из Тагила ударился в Башкирию, где на некоторое время и скрылся. Одновременно с ликвидацией Берды была ликвидирована и Чесноковка. Чика-Зарубин был разгромлен, бежал в Табынск, но самозванному гр. Чернышеву посчастливилось менее, чем самозванному Петру III: здесь Чика-Зарубин был схвачен. При двух ликвидациях—оренбургского и уфимского фронтов восстания, Пугачев лишился почти всех главнейших своих помощников и руководителей: кроме Чики-Зарубина, в плен попали Максим Шигаев, Иван Почиталин (секретарь П.), Тимофей Падуров. Тяжкие неудачи постигли инсургентов в Западной Сибири. Казалось, мятеж был подавлен окончательно. Тем более можно было так думать, что и Яицкая крепость вскоре, меньше чем через месяц после ликвидации оренбургского и уфимского фронтов, была освобождена от осады генерал-майором Мансуровым (16 апреля), при чем один из руководителей последней, казак Дехтерев, был взят в плен, а двое других пугачевских вождя—казаки Овчинников и Перфильев, как и названный их „царь“, бежали в Башкирскую степь. Этому успеху правительственных войск не помешала даже смерть Бибикова (9 апреля): дело планомерной борьбы с „бунтом“ было уже налажено и шло как бы само собой к окончательной развязке. Но так только казалось. На самом деле, опаснейшее для правительства Екатерины и для всего правящего класса было еще впереди. Это было затишье перед новой бурей, еще более сильной. Действительно, в Башкирии Пугачев оправился, Башкиры оказали ему существенную поддержку.

V.

ПРИКАМСКИЙ ПЕРИОД ВОССТАНИЯ ИЛИ ЗАВОДСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.

Организовать новое восстание башкир много помог Пугачеву сметливый и умелый Белобородов, приобревший

„доверие“ самозванца „своей трезвостью, кротким нравом“. Отброшенный от Екатеринбурга, он быстро собрал новую толпу и в разные места, особенно в Кунгурский уезд, разослал с эмиссарами несколько башкирских старшин и мещеряка Бахтияра Канкаева для вербовки новых защитников самозванцу, всем таковым велено было тотчас же идти к нему, Белобородову, на Соткинский завод, „ибо“, говорилось в белобородовском приказе, „и батюшка наш, великий государь Петр Федорович, изволит следовать в здешние края“. „Батюшка“ и сам приказал башкирам выступать в поход по одному человеку с дома, а если в доме 3 человека, то двум. Башкиры поднялись. Они опять начали с грабежа русских селений и заводов. Екатерининские власти увещевали башкир и угрожали им жестокими наказаниями, даже посылали к ним башкирца с отрезанным носом, ушами и пальцами на правой руке —„для воздержания товарищей“, но „товарищи“ башкиры не думали о том, чтобы покориться, и новым своим движением дали опору для снова предпринятой самозванцем открытой борьбы.

Белобородов соединился с Пугачевым в Магнитной крепости, куда прибыли к нему также Овчинников и Перфильев с яицкими казаками, как известно, бежавшие из-под Яика в Башкирию. Но кроме башкирского народа и его уцелевших сообщников, Пугачев мог расчитывать на заводских рабочих и на крестьянское население, приписанное для работ к заводам. Пугачев и появился на Белореченском заводе, как бы вынырнув из степного моря. Отсюда он бросился по Верхне-Яицкой линии и взял Магнитную крепость. Потом он потерпел снова несколько поражений от правительственных войск, особенно от Михельсона, но снова оправлялся, ибо его казацко-башкирская толпа не только не потеряла своего прежнего свойства—увеличиваться по мере своего движения,—но обнаруживала его еще в большей степени, чем раньше. Как и сообщал башкирам Белобородов, Пугачев действительно явился в заводский прикамский край, и в его толпу начали вливаться широкими волнами не только башкиры, но и заводские рабочие и ближайшие из приписанных к заводам крестьяне. Заводские рабочие, уже раньше вступившие в движение, теперь восстали все поголовно, и эта

заводская революция существенно подкрепила казацко-башкирскую революцию. Приставали к Пугачевской толпе попрежнему татары, вотяки, также беглые помещичьи крестьяне, беглые преступники и т. д.; но главной силой, которая существенно теперь подкрепляет казацко-башкирское восстание, становятся заводские рабочие и крестьяне.

Однако, были и такие крестьяне, которые, как свидетельствует один из пугачевских документов, „не преклонялись к повиновению имени его императорскому величеству“; напротив, „завсегда имели в себе помысел злоумышленный“, по сообщению цитируемого документа. Соединившись с большим вооруженным отрядом посадских людей г. Кунгура, крестьяне „села Тазовского, Спасского и Вознесенского, Покровского острожков“, тоже вооруженные, напали на крестьян, „преклонившихся“ к Пугачеву, в том числе и на тех, которые были записаны в казаки пугачевской армии, очень многих из них перебили, всех ограбили и „тем привели крестьян и казаков во всекрайнее раззорение и нищету“. Крестьяне-пугачевцы так были терроризованы контр-революционной посадско-крестьянской бандой, что многие из них разбежались и „обретались под скрытием“. Этот эпизод, несомненно, указывает на то, что крестьянство, вообще шедшее во время пугачевщины одним фронтом, всетаки и в ту пору выделяло из своей обширной среды и такие элементы, которым было выгоднее оставаться на стороне „матушки императрицы“ и наличного социального строя; это, по всей вероятности, были кулацкие слои деревни, близкие по своему экономическому состоянию к буржуазии уездных городков. Эти слои оружием противились „воле“ „его императорского величества“, возбуждая, таким образом, гражданскую войну в общественных низах. Не таковы были заводские рабочие. Гнет на заводах был тяжек для рабочих. И этот невыносимый заводский гнет, как и в Башкирии, сделал свое дело: вызвал единодушный взрыв рабочего люда, готового на все, лишь бы освободиться от прежних хозяев, будь они частные предприниматели или екатерининские чиновники. Заводская кабала душила. Переходя на сторону новой, хотя бы и царской (это было все равно), но освобождающей власти (это было

главное), рабочие захватывали конторские книги, стаскивали их в кучу и зажигали, ликуя и крича в радостном экстазе вольных в этот захватывающий миг людей: „Горите наши долги!“ Начинался буйный разгул, хотя новое начальство, в интересах боевой годности поднимавшихся, принимало свои меры против поголовного пьянства. Так, полковник Белобородов однажды приказал выпустить вино из бочек, но это не остановило пьянства: „народ“, сообщает другой пугачевский полковник (Верхоланцев), „бросился на образовавшиеся лужи и с жадностью пил из грязных луж; пьяные бушевали по улицам“.

В горно-заводском районе главным начальником инсургентских сил был только что упомянутый Белобородов, бывший простой солдат, но теперь „господин атаман и походный полковник“ „его императорского величества,“ один из энергичных и талантливых сподвижников Пугачева. Он был строг, хорошо понимая значение военной дисциплины и высшего авторитета в глазах населения того лица, от имени которого он руководил движением в Камско-Уральском крае. Об этом, м. пр., свидетельствует „наставление“, данное подчиненным ему начальникам более мелких отрядов „Русско-азиатской“ армии, сотникам: русскому—Семену Варенцову, башкирскому—Егафару Азбаеву, черемисскому—Оске Оскину; здесь Белобородов накрепко подтверждал (31-го января 1774 года) „содержать“ им „во всякой строгости и послушании“ находящуюся в их „сотнях русскую и татарскую команду“ и „наблюдать“ в ней „за единодушным к службе его императорского величества усердием“. За провинности казаков „в самовольствах, озорничествах и непослушаниях“ было велено их „наказывать без всякой пощады плетьми“: русских—„при собрании русской и татарской команд, татар—„по тому же при собрании татарской и русской команд“. В этом „наставлении“ беглый солдат из армии Екатерины II, превратившийся в пугачевского атамана, проявил замечательное государственное чутье, рассматривая русских и татар равными перед законом и распоряжениями новоявленного народного носителя верховной власти. То же чутье, как мы видели, проявляли и другие пугачевские начальники. В горно-заводском районе это особенно было у места, ибо от гра-

бительств команд здесь страдали интересы заводских рабочих. Так, например, башкирец Семен Илишев во время своего наезда с большой толпой соплеменников на Рождественский завод забрал с него „всю господскую казну без остатку“, а это были деньги, привезенные сюда с другого завода того же хозяина (Демидова) для раздачи их, в качестве заработной платы, рабочим. Рабочие оказались тем более в безвыходном положении, что завод Семеном Илишевым был закрыт, а заводские рабочие кормились исключительно от заводской работы, ибо они были „люди безпахотные“: „пропитание получить“, жаловались они,—„не знаем откуда, а разойтись с заводу для сыску себе пропитания никуда не смеем“. Далее выяснилось, что башкирская партия, с Семеном Илишевым во главе, из взятых с завода денег—2.017 р. 50 к. разделила между собой лишь 597 р. 50 к., а остальные полторы тысячи рублей представила по начальству, но главный начальник пугачевцев и этого района атаман Чика-Зарубин, или граф Иван Чернышев, приказал разделенную между башкирцами сумму с них взыскать и раздать ее рабочим в счет следуемой им заработной платы. Полторы же тысячи рублей Чика принял, но в заработную плату не обратил. Однако, и рабочих решил удовольствовать, определив вместо принятых от башкирцев денег, отдать рабочим ту же сумму (1.500 р.) „из вырученных за соль и из прочих питейных доходов“ (14-го февраля 1774 г.). Не только среди высших пугачевцев, но и в массах замечается понимание момента и известная выдержка, свидетельствующая о том же государственном инстинкте, жившем во всем многомиллионном крестьянстве, мысль и чувство которого собственно и выражали главари движения. Так, приписанные крестьяне Авзяно-Петровских заводов, освобожденные Пугачевым от заводской барщины, признали его „Петром III императором“ и, согласясь между собою „ехать в свои отечества“, т. е. домой, в свои деревни, в силу повеления „его величества“, решили совершить эту поездку организованно—выбрали из своей среды большака, „для провождения“ своей партии и составили в этом смысле постановление за подписями представителей всех тех деревень и сел, из которых происходили приписанные к

Авзяно-Петровским заводам крестьяне; их общий представитель Степан Понкин, выбранный ими, должен был наблюдать, чтобы „партия“ его дорогою до „своих жительств“ „не чинила“ „никаких обид“ и „налогов“ в проезжаемых ею селениях. Таких „подданных“ Петра III, хотя бы они были крестьянами XVIII века, нельзя трактовать очень свысока, как якобы не владеющих, как следует, и членораздельною речью: они хорошо поняли и оценили создавшееся положение и умели весьма толково выражать словесно это понимание и эту оценку. Но, конечно, народные массы, веками терпевшие от помещиков и чиновников, не могли делать революцию, похожую на парад. Восстание их никогда и нигде не отличалось мягкостью. Так было и во время пугачевского движения, которое не делалось скромнее от неудач. Во второй его период замечается даже большая ожесточенность восставших, чем в первый период мятежа. Окруженный башкирами, бывшими главной опорой Пугачева после его поражения Голицыным, самозванец в этот новый период движения естественно приступил к уничтожению столь ему раньше полезных заводов, к которым, однако, башкирский народ относился с непримиримой ненавистью. Это были реакционные деяния, но они вызывались соображениями реальной политики момента. Авзяно-Петровский завод, с которого Пугачев забрал годных людей, был сожжен. Нередко бывало, что рабочее население заводов, действуя рука об руку с башкирами, не признавало ни частной, ни государственной собственности. Сам Пугачев, как о нем свидетельствовали хорошо его знавшие сподвижники, „не любил грабительства безвинных людей“, но, встречая сопротивление, он становился безпощаден и, добившись своего, жестоко наказывал непокорных. Так, от г. Осы он сначала был „отражен“ (18 июня); 20 июня он повторил приступ, и на другой день город сдался самозванцу, который в него „вошел, все, что надобно набрал“, показывал он сам впоследствии „и пошел опять в стан, а Осу сжег“. Вскоре после этого были заняты Пугачевым заводы Воткинской и Ижевской; они тоже не только были разгромлены, но сожжены. Опустошено было на том же берегу Камы и еще несколько заводов. В результате всех своих успехов Пугачев приобрел господство на обо-

их берегах Камы. У него было до 7 тысяч человек войска при 12 пушках, и его власть распространялась на обширный район. В Сибирской губернии опять начались волнения, и киргизская баранта опять стала вредить пограничным местам этой губернии. Но сам Пугачев тянулся теперь не на восток, а на запад. В Ижевском заводе он об'явил поход на Казань.

VI.

ВЗЯТИЕ КАЗАНИ И НАЧАЛО КРЕСТЬЯНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.

Когда Пугачев, рассеяв высланный против него небольшой отряд Толстого, подошел к столице бывшего Казанского ханства, то прежде всего он послал казанскому губернатору Брандту указ, „чтобы без баталии сдался", как впоследствии показывал сам Пугачев на допросе. Но „указ", или манифест, в дворянской Казани успеха не имел. Овчинников, возивший в Казань „манифест", по быстром возвращении оттуда заявил, что „манифеста" не слушают, а только „бранят". Но это отвержение манифеста опять-таки нужно отнести только к высшим слоям городского населения и при том русского, а не татарского. К татарам еще раньше в начале восстания был прислан пугачевский указ на татарском языке. Он среди собственно народной татарской массы имел большой успех, и понятно почему: указ обращался именно к низам общества и поднимал их на верхи его. Как и всех обездоленных, татарское крестьянство Пугачев жаловал „землей, водой, рыбой, топливом, пашней, лесом, порохом, деньгами, свинцом, хлебом, солью и прочим", словом всем. „Кто не подчинится", гласил указ, „и будет противиться— боярин, генерал, майор, капитан и другие,—голову того рубите и имущество его грабьте.... Если окажется у них казна, она должна быть принесена царю. Их обоз и лошади и другое, что необходимое, должно быть доставлено царю. Прочее, в чем нет нужды, расходуйте на армию". Указывалось на прежние притеснения и вымогательства со стороны высших: „в свое время они вас ели, вас, моих рабов, они лишили воли и свободы; теперь посев их косите, если не подчиняться". Само собой разумеется, что низы татарского городского населения и татарское кре-

стьянство тоже охотно „прилепились“ к Пугачеву и сильно поддерживали его в боях под Казанью. Верхи татарского общества, татарская буржуазия и крепко с нею связанное духовенство повели себя дипломатично, не присоединяясь к движению, но, за некоторым исключением, и не противясь ему, так как это движение, будучи ненавистно им, как несущее социальные беды, как направленное против верхов, все-таки было приемлемо и для них, ибо манило их облегчением в политическом и религиозном отношениях. Но несмотря на сочувствие Пугачеву низов, как русская, так и татарская дворянская и чиновничья Казань надеялась отбиться от пугачевского нашествия и потому мирное предложение вождя нисших классов было отвергнуто. Пугачеву пришлось и здесь действовать оружием своей русско-азиатской армии, достигшей под Казанью тысяч до 20. Эта армия была устроена по готовому образцу—приблизительно также, как екатерининские войска, но с преобладанием в ней иррегульных частей, а главное,—она хорошо была дисциплинирована. Пугачев под Казанью разделил ее на 4 отряда. Город плохо был подготовлен к защите, и взять его не составило большой трудности. Инсургенты ворвались в него с 2-х сторон—через Арское поле, под прикрытием возов с сеном, и через Суконную слободу, где предводительствовал сам Пугачев. Некоторое сопротивление было оказано лишь у Арского поля гимназическим отрядом, который не выдержал стремительного натиска пугачевцев; за ним без боя отступил и солдатский отряд в 300 человек, под начальством родственника фаворита—П. С. Потемкина. Через Суконную же Пугачев вторгся в город безпрепятственно. Казань, зажженая в 10—12 местах, сразу запылала. Начались всевозможные эксцессы победителей, как это всегда бывает при народных бунтах. „Многочисленная чернь“, говорит современник, „составлявшая его (Пугачева)“ шайку, вдалась в пьянство и грабеж“. Полилась кровь. Не было никому пощады из классовых врагов победившей „черни“. „Везде слышим вопль, рыдания и стон; страшные слова „коли его“ часто повторяемы были“—под свежим впечатлением пережитых ужасов писал один современник. „Чернь“ расходилась. Рассказывали, что „перед взорами жителей кидали в огонь младенцев, женщин насиловали нередко на смерть“; с сок-

рушением сообщалось потом об умерщвлении даже „тех, кто искал спасения у самого алтаря“. Казанский купец П. А. Сухоруков, во время пугачевщины 15-ти летний мальчик, бывший очевидцем казанского разгрома, впоследствии рассказывал, что „священники Грузинской церкви ходили в одной рубахе и босиком, чтобы казаки их не узнали“: иначе они были бы умерщвлены. Тюрьма была разбита, и большинство арестантов, которых не успела заколоть стража (что было приказано П. С. Потемкиным), вышло на свободу. Арестанты, разумеется, тоже показали себя. В дыму и пламени пожара при грохоте пальбы и завывании поднявшейся бури, озверевшие от вина и жажды мщения, неутоляемой вином, люди совершали, с гиканьем и визгом, выдающиеся по своей жестокости „дела“. И это продолжалось в течение целого дня и „до глубокой ночи“. В числе многих погибших из высших классов был современник Петра I стодесятилетний старец генерал-майор Кудрявцев; он сидел в кресле в храме Покровского девичьего монастыря; когда пугачевцы ворвались туда, он поднялся и закричал на них: „Как можете вы, изменники, дерзать против своей государыни, осквернять и расхищать храм божий“? Разумеется, он был тотчас же убит.

Все эти эксцессы, обычные поступки народного восстания, были лишь ответом на преступления правящего класса против всех подневольных. Казань выгорела почти вся, уцелели только Суконная и Татарская слободы, да и то не вполне. Всего сожжено и ограблено оказалось 2.063 дома с торговыми лавками и церквами ок. 3000 зданий, (уцелело 810 домов). „Унимать пожар“, поясняет современник, „было некому: народ весь был выгнан пугачевскими в поле, между селениями Савиновым и Царицыным“. Но сами „пугачевские“ пока не пошли так далеко; они ночью расположились поближе, на другом поле—на Арском. Сюда, на „поле“, было вывезено 15 бочек вина,—и начался пир. „Самозванец“, говорит бывший пугачевский полковник Верхоланцев, „любил угощать дружину после всякой победы“. Но победа была в данном случае неполная. Целый день Пугачев обстреливал Казанский Кремль, где заперлись неудачливые защитники города, но кремль устоял. Тем не менее всю ночь продолжался

разгул пугачевской толпы, разбившейся на несколько шаек, при чем самозванец „сам раз‘езжал по стану“. Стан же его по взятии и разорении Казани находился на Арском поле; сюда были пригнаны все захваченные в плен и здесь поставлены на колени перед пушками. Но здесь же Пугачев, сидя в кресле, принимал татарскую делегацию, поднесшую ему подарки и через то, может быть, спасшую Татарскую слободу от грабежа и сожжения. Татарская буржуазия отдала победителю должное, а он, по своему обычаю, ее пощадил. „Народ“, поставленный на колени, был прощен, кричал ура, и многие из той толпы из‘явили желание служить „великому государю Петру Федоровичу“, видя, как он хорошо угощает своих вином. Однако похмелье торжествовавших победителей оказалось тяжелым. На утро, после бурно проведенной инсургентами ночи, под Казанью появился Михельсон с небольшим, но уже испытанным в бою конным отрядом в 800 человек. У Пугачева было не менее 12.000 человек, но в громадном большинстве, как отмечено выше, это были плохо вооруженные, только-что сформированные из крестьян, иррегулярные части, лишь казацкая и солдатская части пугачевской армии, вместе в артиллерией, находившейся в распоряженных опытных старых солдат и заводских рабочих, могли постоять за себя. Эти части и не ударили в грязь лицом при первом же столкновении с отрядом Михельсона у села Царицина, куда вышел Пугачев из Казани встретить незванного гостя. „Злодеи меня“,—сообщал этот последний после боя в своем рапорте от 13 июня (1774 года),—„и с великим криком и с такою пушечною и ружейною стрельбою картечами встретили, какой я, будучи против разных неприятелей, редко видывал и от сих варваров не ожидал“. Несмотря на это, Пугачев был разбит, потеряв до 800 человек убитыми и 737 попавшими в плен. Он отступил к самой Казани, на Арское поле, где произошла вторая баталия, Пугачев был разбит снова, но опять таки не счел своего дела проигранным; ибо он быстро собирал вокруг себя новые толпы, или, как говорит современник, „скоплялся“. К нему сбегались крестьяне из окрестных селений. В Казанской губернии, в которой, как нам известно, и государственным крсстьянам жилось плохо (русским, татарам и нацменам), Пугачев врезался в

густые массы крепостного крестьянства, и оно стало сейчас же прилипать к нему, как к своему социальному магниту. После второго поражения под Казанью Пугачев, удалившись за село „Сухую реку“, быстро, верстах в 15—20 от Казани, собрал около себя новую толпу в 15.000 чел., а может быть, и более; 15 июля он померялся с Михельсоном под Казанью в третий раз, но был разбит на голову. До 2.000 человек из его войска (преимущественно башкиры и татары) было убито. Потеряв свою „русско-азиатскую армию“ со всею артиллерией, Пугачев бежал с поля битвы лишь с 400 чел. (главным образом казаков), лишившись и обоза с награбленным в Казани добром. Опасались, что Пугачев перейдет на правый берег Волги, а он, как раз, это и сделал, 17 июля переправившись немного пониже Сундыря. В Сундыре Пугачев не был принят, за что это село было им сожжено.

VII.

ПОВОЛЖСКИЙ ПЕРИОД ВОССТАНИЯ ИЛИ КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.

Но за то дальше, на правом берегу Волги, его ждало всеобщее признание. Этого то и боялись екатерининские власти, ибо видели воочию, что здесь есть почва для признания миром крестьянства, особенно крепостного, и миром поволжского нацменского населения, тоже земледельческого, крестьянского. Пугачев и его сообщники это хорошо понимали. Переправившись через Волгу, пугачевская партия разделилась на две части: одна с Пугачевым во главе пошла на Чебоксары, а другая по чувашским деревням и помещичьим усадьбам. Отдельные агитаторы быстро рассеялись по Казанской и Нижегородской губерниям и всюду, где появлялись, подняли крестьянское население именем батюшки-царя Петра Федоровича. Вместе с русскими крестьянами восстали и нацмены — чуваши, мари, мордва, раздраженные злоупотреблениями чиновничьей администрации, „неправедными судьями“, миссионерами и попами. Громадное агитационное влияние на крестьянские массы оказал „манифест“, с которым Пугачев обратился к крестьянству по переходе на правый берег Волги. „Жалуем“, — об'являл самозванный Петр Федорович, — „во всенародное изве-

стие“, „жалуем сим именным указом, с монаршим и отеческим нашим милосердием, всем находящимся прежде в крестьянстве и подданстве помещиков, быть верноподданными рабами собственно нашей короны и награждаем древним крестом и молитвою, головами и бородами, вольностью и свободою, вечно казаками, не требуя рекрутских наборов, подушных и прочих денежных податей, во владение землями, лесными, сенокосными угодьями, рыбными ловлями, соляными озерами без покупки и без оброку и освобождаем от всех прежде чинимых — от злодеев-дворян, градских мздоимцев и судей — крестьянам и всему народу налагаемых податей и отягощениев“. Эти пожалования, при всей их кажущейся логической несообразности, вполне соответствовали экономической и бытовой жизни крестьянства и всего простого народа в России. В самом деле, с одной стороны — предлагалось остаться „рабами“ короны, а с другой — давалось вечное казацкое, так наз. вольное состояние: это — очевидное противоречие, очевидная логическая несообразность; но те общественные классы, к которым обращались с такими „пожалованиями“ — быть рабами и вольными в одно и то же время — находили это вполне естественным и совместимым. Находясь еще в стадии натурального хозяйства, они не могли себе представить такого общественного устройства, при котором не было бы совсем хозяина, и, таким образом, они ничего не имели против хозяйского властительства короны, „царя-батюшки“, тем более такого доброго, который об‘являл освобождение от всех податей и повинностей и даром наделял всеми землями и угодьями, столь нужными крестьянину и всему народу; с таким добрым, но далеким, одним барином и рабством по отношению к нему соглашались помириться, лишь бы не было многих господ, близкик к крестьянину и требовательных, а от них-то и освобождалось крестьянство, равно как и от всех мздоимцев и судей, становясь вольным, — казачеством; за такую же волю с радостью принималось „рабство“ по отношению к царю, к единому барину, обещавшему не брать ничего ни с крестьянства, ни с кого, кроме дворянства, у которого отнималось все, не исключая и жизни. Последнее было ответом на вопрос, что делать с помещиками в мужицком царстве „вольных

рабов батюшки Петра Федоровича". И этот ответ данный самим вольным казаком, вызвавшимся быть мужицким царем, гласил: истребить. „А как ныне имя наше властно всевышней десницы в России процветает" об'являлось далее в „манифесте", „того ради повелеваем сим нашим именным указом: кто из дворян в своих поместьях и вотчинах (находится), оных противников нашей власти, возмутителей империи и раззорителей крестьян, ловить, казнить и вешать, и поступать равным образом так, как они, не имея в себе христианства, чинили со своими крестьянами, по истреблении которых противников и злодеев-дворян всякий может восчувствовать тишину, спокойную жизнь, кои до века и продолжаться будут". „Манифест" и в этой своей части отвечал самым заветным стремлениям и чувствам крепостного крестьянства, возросшим и воспитавшимся на почве того социально-политического положения, которое падало на долю крестьян как результат общей экономической эволюции страны. Как „повелевал" манифест Пугачева, крестьяне раньше и сами так поступали — массами в Смутное время, так поступали во времена разиновщины, то там, то сям во все времена, не будучи в состоянии выносить гнета владевшего землей и народным трудом класса — чтобы избавиться от него, от этого кровопийственного класса „злодеев", как крестьяне в злую минуту называли помещиков, это — стародавняя мечта крестьянства. „Покойная жизнь" могла наступить, по крестьянскому мировоззрению, лишь после этого. Так „манифест" Пугачева лишь подвел итог материальным и духовным явлениям в сфере взаимных отношений крестьянства и дворянства в затянувшуюся крепостную эпоху. Не мудрено, что он имел громадный успех: он ярко выразил наличное настроение самого крестьянства. Началось то, что дворянский поэт Державин называл „прекровожаждущим рыском" крестьян. Последние сделались первыми. Крестьяне решили, что пришло их царство: „Настанет наше время", — говорили они, — „и бояться нам нечего". Они и не боялись ничего. Боялись дворяне. Эти испугались страшно и, видя, что идет гибель от пылавшего гневом и местью восставшего на них крестьянства, ударились бежать. Бежали в города, в Москву, куда из захваченного бунтом

края с'ехалось немало дворян. Многие, застигнутые врасплох, бежали в леса, как бы сменив там прежних беглецов-крестьян, спасавшихся от барского гнева и мести. Но в лесах помещиков нередко настигали крестьяне и умерщвляли; бывало и так, что местопребывание убежавших в лес указывал кто-либо из дворовых, считавшийся верным слугой, а потом об'явившийся еще более жестоким по отношению к своему господину, чем те, которые его захватили. Так, например, это случилось при побеге в лес помещика Мертваго с семейством. Когда этот помещик был захвачен пугачевцами, то крестьяне его деревни дали о нем хороший отзыв и просили помилованья, но дворовый, раньше выдавший семью Мертваго, „стал бить его плетью"; это было сигналом: пугачевцы схватили помещика и повесили, а потом, постреляв в него, бросили в реку, в тину. Тот же дворовый, который был причиной гибели Мертваго, при задержании, ударил жену и дочь его дубиной по голове. Не со всеми кончали на месте: многих, в надежде за каждого пойманного помещика получить от новой власти деньги — 10 рублей, везли в город, даже к самому Пугачеву, если он был по близости. И сам Пугачев и его полковники большею частью не знали пощады, — и дворяне гибли целыми массами. Но и крестьяне, щадя иногда добрых господ, вообще-то не сантиментальничали, а часто в жестокости против своих низверженных „господ" превосходили даже самого Пугачева и его казацких старшин. Крестьяне при этом все более и более проникались убеждением, что „злодей" помещик уже более не вернется. Когда отрок — сын погибшего Мертваго обещал наградить одного крестьянина, если опять все переменится и „будет по-прежнему", то получил на это „грозный" ответ: „врешь", — закричал крестьянин, — „этому не бывать; прошла уже ваша пора!"

И крестьянство в целом сознательно шло на совершенное истребление помещичьего класса, не щадя никого, ни женщин, ни детей, ни даже грудных младенцев. Список убитых дворян во время пугачевщины, как сам народ прозвал эпоху крестьянского „прекровожаждущего рыска" на дворян, напечатанный Пушкиным, занимают несколько десятков страниц, но он не полон. Самые усадьбы, разу-

меется, разгромлялись, имущество разделялось между участниками погрома, при чем делилось положительно все, что попадало под руку, даже обивка мебели и обои. Как и во времена разиновщины, вступил в свои права первобытный коммунизм распределения, прекрасно уживавшийся с полной анархией потребления. Словом, сильно и глубоко всколыхнулось крестьяоское царство. Казанская и Нижегородская губернии сразу запылали мятежем.

Восставшие районы по своему организовывались, устанавливали новых начальников, пришлых пугачевцев или своих главарей и стремились связаться с самим Пугачевым, как со своим центром, с освободителем своим „Петром Федоровичем", на имя которого неслись крестьянские челобитные.

Ясно было, что пожар будет перекидываться всюду, где появятся пугачевские партии, почти безразлично с самим ли Пугачевым или без него. Слышно было, что и в столицах „чернь", особенно в Москве, волнуется и в нетерпеливом напряжении ждет „освободителя" „батюшку Петра Федоровича", как когда то ждала „батюшку Степана Тимофеевича". Немногие оставшиеся в живых и на свободе сообщники Пугачева, яицкие казаки, понимали всю социальную обстановку восстания, звали своего показного главу в поход на Москву. Заманчиво было идти на древнюю столицу, там ждала победа, потом, думали, добрались бы до Петербурга, — и программа пугачевщины была бы выполнена: можно было бы, — так мечтал и Пугачев и его сообщники, отмстить за прежние обиды всем обидчикам и истребить дворянство, Россию превратить в казацкую страну и столицей сделать Яицкий городок и т. д. Это был крайне смелый план, но, при общем сочувствии простого народа предприятию, когда к Пугачеву, как к Петру III, тянулось и духовенство и даже купцы, тоже классовые недоброжелатели дворянства, — осуществление этого плана могло увенчаться успехом: Екатерина считала это возможным и сама некоторое время спала, не раздеваясь, готовая бежать за границу с драгоценностями, разложенными по карманам. Но Пугачев не воспользовался предложенным товарищами планом.

Почему? Этот вопрос не безынтересен, но едва - ли он может быть разрешен с полной точностью. Одно не-

сомненно: целый ряд обстоятельств отклонил Пугачева от московского пути. Потерпев решительное поражение от регулярного войска под Казанью, Пугачев боялся померяться с ним под Москвой, куда регулярная армия должна была подойти, так как война с турками закончилась; даже если бы Пугачев и занял Москву, он мог бы очутиться в ней, как в мышеловке. С другой стороны, собственное войско Пугачева было уже не прежней русско-азиатской армией: яицких казаков, главного ядра пугачевского войска, в нем было мало и совсем не было воодушевленных ненавистью к русскому владычеству татаро-башкирских конных ополчений, привыкших владеть оружием, хотя бы и холодным. Во всяком случае, отряды, сформированные на правом берегу Волги из русских крестьян, много уступали прежней „русско-азиатской армии", в которую входил и такой энергичный и во многих отношениях пригодный к борьбе элемент, как заводские рабочие.

Эта перемена в обстановке и боевом состоянии „армии" не могла содействовать решению Пугачева идти на Москву. Голод, который начинался не только в Поволжье, но и на московских путях, тоже мог охладить его боевую энергию. Но за то, за Пугачева, было все крестьянство и городское простонародье; где бы он ни появлялся, хотя бы и с ничтожной военной силой, всюду он находил признание со стороны общественных низов. В этом была его могучая сила. На нее-то и расчитывали казацкие старшины, когда звали Пугачева на Москву. Они тоже видели, и конечно, понимали условяя создавшегося положения, но тем не менее советывали своему предводителю предпринять московский поход. Он же не решился на этот крупный шаг. Объективные условия были непреоборимы не только для Пугачева, но, надо думать, и для всякой личности в этот исторический момент. Тем не менее несомненно, что именно в этот момент кризиса движения и выявилась истинная личность этого вождя великого народного движения.

Пугачев был обыкновенный, хотя и довольно бойкий и ловкий авантюрист бродячей Руси, не веривший в конечное торжество своего дела, отделенного им, в конце концов, откровенно от дела народа. Он решил сделать

попытку уйти от начавших его энергично преследовать правительственных войск и начал быстрое отступление в южном направлении, вместо того, чтобы идти на запад—на Москву. Сначала он, было, думал найти поддержку на своей родине, на Дону, но когда эта надежда сорвалась, он пустился совсем на утек, дабы скрыться в том же мире бродячей Руси, из которого он вышел, а, может быть, и пробраться опять в Башкирию, хотя последнего предположения он не высказывал. Всюду, где он проходил, вспыхивало восстание крестьян и вообще простонародья; но оно не задерживало Пугачева: он стремился дальше. Это не обескураживало восставших, ибо у них появлялись свои „Пугачи", которые и продолжали работу главного „Пугача" вширь и вглубь. Иные, предводительствуя большими сборищами мятежников, наводили ужас на большую округу: таков, напр., бывший дворовый Фирска, взволновавший „чернь" в Симбирском уезде настолько, что она, по свидетельству Рычкова, потерявшего здесь сына, „едва-ли не вся устремилась на убийство и разграбление дворян". Симбирск был в трепете от этого энергичного пугачевского помощника, пожалованного самозванцем в полковники, и чуть-чуть удержался. Сам Пугачев тоже обошел этот город и попал в него лишь впоследствии, пойманным,—в железной клетке. Теперь, пока еще вольный верховный „Пугач", во время полета своего к югу, брал города довольно успешно, ибо сопротивление в них не было организовано, а измена „матушке-царице" встречалась все чаще и чаще и все в более широких размерах. Взял он Пензу, потом Петровск, из которого выступил на Саратов. Пугачев двигался очень быстро; только конных из прибывавших к нему крестьян он присоединял к своей толпе, пеших отпускал, потому что для той быстроты, с какой он двигался, можно было иметь лишь конное войско. За ним опять шел громадный обоз с награбленным добром, с женщинами и детьми. Те группы сторонников Пугачева, которые во что бы то ни стало хотели присоединиться к его толпе, идя за своим новоявленным „батюшкой", долго не могли его догнать. Лишь под Саратовым присоединились к нему волжские казаки, а заводские крестьяне, шедшие за Пугачевым от Казани, нагнали его только когда он уже вышел

из Саратова. Под этот последний город Пугачев подступил 5 августа (1774 г.) Укреплен Саратов был плохо, но главная для него беда заключалась в том, что среди властей его не было единодушия, они ссорились между собой и старались подсидеть друг друга; к тому же не только среди жителей, но и среди войска открылась измена екатерининскому правительству; у коменданта Бошняка осталась лишь самая малая часть солдат, большинство которых вместе со своим начальником Салмановым и почти со всеми офицерами перешло на сторону самозванца. Бошняк со своим ничтожным отрядом вышел из Саратова и с боем отступил сначала до Улешей, а потом на лодках к Царицину. 6 августа город был занят пугачевскими отрядами; сам Пугачев не въехал в город, все время оставаясь в своем лагере в 3 верстах от города, в Улешах. Сюда Саратовское духовенство устроило крестный ход 17 августа и тем самым оказало Пугачеву полное признание как „государю", возглашая его имя во время богослужения вместе с именем его яицкой жены Устиньи Петровны. Между тем в Саратове происходила уже обычная пугачевская расправа. Многие дворяне и чиновники погибли; пострадало немало и простых жителей, ибо вешали не только „благородных", но и простых людей, даже бурлаков, если они в чем-либо противились новым властителям, убивали всех, кто только не желал отдать своей собственности. „Перечислить число убитых и повешенных", говорит новейший исследователь, „было бы напрасной попыткой". Разливанное море необузданного разгула захлестнуло и попов, которые в полупьяном состоянии приводили к присяге саратовских жителей в стане самозванца. Здесь же работали и виселицы. Саратов был освобожден от имевшихся в нем ценностей, частью сгорел. Пугачев забрал отсюда 5 пушек и 25.789 медными деньгами; а пришлая и местная народная толпа расхватала более 19.000 четвертей муки и много овса. 9 августа Пугачев выступил из Саратова к Царицину с отборным войском, но толпы его хозяйничали здесь еще до 11 августа, когда им пришлось ретироваться, потому, что к Саратову подходил авангард гнавшихся по следам Пугачева правительственных войск.

Несмотря на то, что под Царициным к Пугачеву присоединилось до 3000 ставропольских калмыков, этого города ему взять не удалось: к Царицину подходил Михельсон, и самозванцу спешно пришлось отступить дальше.

VIII.

КОНЕЦ ПУГАЧЕВА И ПУГАЧЕВЩИНЫ.

Верстах в 60-ти от Царицина, ниже Саратова, у Сальникова завода, Михельсон, наконец, настиг самозванца и нанес ему решительное поражение (26 августа). Пугачев потерял всю свою „армию“ вместе со своими „фельдмаршалом“ Овчинниковым, пропавшим без вести. Видя, что, после отчаянного сопротивления, все потеряно, Пугачев с „яицкими казаками и несколькими крестьянами, с женой и больным сыном“, как он сам впоследствии показывал, „бежал к Волге“. Стали переправляться спешно на другую сторону. „В торопливости“, сообщал потом Пугачев, „многие вплавь, а я с женой в лодке, приехали на остров. А как с оного надо плыть, то Перфильев, не знаю для чего, остался и с ним несколько толпы моей людей“. Так Перфильев больше и не соединился с Пугачевым, будучи захвачен отдельно от него с оставшимися людьми. На левой стороне Волги Пугачев на вопрос своих ближайших сподвижников, уже решивших его предать, что он теперь думает делать,—отвечал новыми планами, более или менее фантастического характера. „Я, думаю“, говорил он, „идти вниз по Волге, собрав на ватагах хлеба, пробраться морем к запорожским казакам, а там близко есть у меня два знакомые князька, у одного наберется войска тысяч с семнадцать, а у другого тысяч с десять: они за меня верно вступятся“. Но сподвижники-казаки отказались за ним следовать куда бы то ни было, говоря: „куда нам в такую даль забираться? У нас есть жены и дети“. Они то и увлекли его на Узени „в место такого положения, какое всю мятежническую тварь в себя вмещает“. Казаков было около 160 человек и среди них башкирский старшина Кинзя и татарин Каргалинской слободы Садык Сеитов. Когда вся партия была на реке Узени, несколько человек из нее „чиновных в войске Пугачева людей“ воспользовались

тем моментом, когда они очутились с Пугачевым по одну сторону р. Узени, тогда как остальная его толпа оставалась еще по другую, и приступили к осуществлению своего плана арестовать Пугачева. „Што ваше величество“, спрашивал его Чумаков,—„куда ты думаешь теперь идти?“ „А думаю“, ответил Пугачев, „идти по форпостам и, забрав с оных людей, идти к Гурьеву городку, тут мы перезимуем, а как лед скроется, то, севши на суда, пойдем за Каспийское море и подымем орды—они верно за нас вступятся“.—„Нет, батюшка, воля твоя“, ответил Чумаков и другие бывшие тут 5 человек,—„мы не хотим теперь воевать, а пойдем лучше в наш городок“. Стало сразу ясно, что товарищи хотят выдать своего вождя. Пугачев побледнел, потом краска гнева бросилась ему в лицо, он понял, что товарищи хотят его выдать правительству Екатерины. Видимо, сдерживая себя, он просил отменить предложенную поездку. Но казаки уже не желали откладывать дела. „Иван“, закричал казак Федулев Бурнову,-„што задумали, то затевай!“ Бурнов схватил Пуг. за руки повыше локтей.—„Што это, что вы вздумали, на кого руки поднимаете?“ взмолился Пугачев.—„А вот что, ты отдай нам шашку, ножик и патроницу“, закричали все 6-ро в один голос, и хотя Пугачев просил их не губить его, они его обезоружили и арестовали. Чумаков поскакал сообщить о том и всему казацкому стану. Усыпив разговором бдительность казака Творогова, Пугачев сделал попытку бежать, проявив свое природное свойство—„проворность“, но попытка не удалась, хотя, будучи окружен, он не сразу сдался, а на скаку спрыгнул с лошади на землю, хотел скинуть сапоги и шаровары и бежать, очевидно разчитывая скрыться в камышах; но и казаки были проворны. Иван Железнов, соскочив тоже с лошади, бросился на него и хотя и тут Пугачев успел выхватить у Железнова шашку до половины,—эта попытка к бегству кончилась неудачно: подоспели другие, и самозванец был связан. Позже, когда Пугачева, опять развязанного, везли уже при всей партии, он воспользовавшись оплошностью одного молодого казака, положившего на землю шашку и пистолет, схватил это оружие и прямо побежал на казаков, арестовавших его (Чумакова, Федулева, Бурнова, Железнова и Творогова), крича: „Вяжите, про так

их мать, старшин-то, вяжите!" Он расчитывал, что остальные казаки партии поддержат его и освободят.— „Ково ты велишь вязать?" спросил Федулев—„Тебя!"— и Пугачев, направив в его грудь пистолет, спустил курок, но произошла осечка. Федулев бросился на Пугачева с обнаженной шашкой, а тот, отмахиваясь, начал пятиться назад, другие казаки окружили его. Бурнов ударил его тупым концом копья, а Чумаков схватил сзади за руки, и эта безумно смелая попытка Пугачева освободиться из предательского плена была ликвидирована. Пугачева связали снова и больше уже не развязывали. В полночь с 14 на 15 сентября (1774 г.), значит, через год после начала его „царской" карьеры, он был привезен в Яицкий городок и выдан екатерининским властям. Закованный в кандалы и посаженный, как зверь, в железную клетку, он был затем доставлен в Симбирск к верховному „усмирителю" гр. Петру Панину; тот, увидав Пугачева, рассвирепел, дал ему несколько пощечин и оттаскал за бороду, „которою", саркастически пишет Панин, „он Российское государство жаловал". Побил „верховный усмиритель" скованного Пугачева, приведенного перед его светлые очи, как Панин сам сознается,—„от распаленной крови на его Пугачева злодеяния", т. е. на пролитую им дворянскую кровь. Страшный враг дворянства был в оковах, и потому можно стало представителям этого класса дать волю и своему злорадству, и всякому надругательству. Панин только выразил общее дворянское настроение, которое особенно ярко проявилось во время казни Пугачева в Москве, на Болоте (10 января 1775 г.) Дворянство было в восторге и, теснясь к эшафоту, не скрывало этого; оно считало это кровавое зрелище своим дворянским „праздником" и наслаждалось физическим и умственным созерцанием того, как за пролитую дворянскую кровь платил кровью же показной глава „прекровожаждущего рыска" на дворян. Казнены были и ближайшие, попавшие в руки дворянства, сообщники Пугачева (Перфильев—в Москве, Чика-Зарубин—в Уфе), кроме тех, которые сделались его предателями (Иван Творогов и Чумаков с товарищами). Немилостиво были наказаны вожаки башкир. Из них особенно прославились Юлай и его сын Салават Юлаев. Пугачевская агитация сильно

увлекла Салавата Юлаева, этого экспансивного башкирского патриота. Кто не хотел пристать к восстанию за лозунги, брошенные в башкирский народ Пугачевым, все безпощадно истреблялись Салаватом: он их казнил всеми видами смертной казни, вплоть до сожжения за живо, и притом всех поголовно, с женами и детьми. Когда Пугачев был уже пойман, в ноябре месяце все еще продолжался бунт в 10 башкирских волостях, и виновником этого упорства башкир в восстании был Салават. Понятно, что когда он сам был изловлен, правительственный суд его не пощадил, равно как и его отца, тоже одного из руководителей башкирского движения. Оба они были приговорены к наказанию кнутом во всех тех местах, где они мятежнически действовали, а потом к ссылке в каторжную работу, после того как они будут заклеймены и у них будут вырезаны ноздри. С этим клеймением и вырезыванием вышла некоторая задержка.

Когда Юлай и Салават предстали пред присутствием правительственной канцелярии после всех этих наказаний, то члены этого присутствия с удивлением увидали, что оба преступника с ноздрями и без клейма. Спросили того чиновника, который должен был позаботиться, чтобы у них не было ноздрей и были бы клейма. Он, к не меньшему, вероятно, удивлению их, ответил, что клейма по какой то причине стерлись, а ноздри выросли снова. Провинциальная канцелярия не удовлетворилась этим об'яснением, постановила заклеймить преступников и вырезать у них ноздри при членах канцелярии. После исполнения этого приговора в такой обстановке, надо думать, ни клейма не стирались, ни ноздри не выростали. Так наказывали мятежных вождей башкирского народа. Но казнями главарей классовое чувство мести дворянства не могло быть удовлетворено. Перед ним вставал коллективный виновник — крестьянство, возбуждавшее в нем острое желание проучить непокорных „рабов“ жестоким образом. Верховный „усмиритель“ на местах пугачевщины, дабы памятно было мятежному крестьянству, надолго развил такую систему самого необузданного террора, что его стала останавливать сама „матушка-царица“, считавшая в данном случае милосердие „неуместным“. Но Панин, как истый представитель своего

класса, принимал „с радостью пролитие крови таких государственных злодеев на себя в на чад своих“. Он приказал в бунтовавших местах вешать 1 человека от каждых 300 человек, а трупы казненных „положить по всем проезжим дорогам“, всех же остальных крестьян велено было „пересечь жестоко плетьми, и у пахарей, негодных в военную службу, на всегдашнюю память их злодейского преступления урезать у одного уха“ и т. п. Пугачевщина была подавлена. Ближайшим последствием этого был голод в тех местах, которые ею были захвачены. Разорение и недоимки — вот что осталось для крестьянства от попытки стать господами своей жизни, совершенно устранив из нее помещичий класс; по одной Казанской губернии, в одних только экономических селениях, недоимки за один год образовалось до 100.000 руб. и ее надо было платить с разоренного хозяйства [1]). Не удивительно, что крестьянство присмирело, а некоторые наиболее впечатлительные представители его впали в отчаяние. Последнее видно хотя бы из того, что, как раз в Волжско-Камском крае, в крестьянстве усиливается развитие религиозного изуверства: проповедывается учение совсем уходить из этого мира при помощи самосожжения или самоутопления, и находятся фанатические последователи этого учения, осуществляющие его мрачную смертную идею.

За то победивший класс—еще более, чем до пугачевщины, предался утехам этого грешного мира, и венцом такого рода стремлений дворянства несомненно явилось то общество физических наслаждений («Общество адамистов»), которое было открыто властями в Москве—они искали крамольных мартинистов, опасных революционеров, а нашли красивых и здоровых людей из высшего дворянского общества, во множестве соединившихся в тайное общество с целью предаваться без всякой сдержки и без малейшей тени стыда половой любви[2]). В дворянстве, стало быть, после пугачевщины чувствовали себя очень жизнерадостно. Да и помимо этой уродливой крайности в наслаж-

---

[1]) Москов. Арх. быв. Мин. Юстиции. Дело № 39 по коллегии экономии, связка 590.

[2]) Записки Массона, „Голос Минувшего“, 1917 г. I, стр. 107 и 108, Былое, 1925 г. № 27—28, стр. 4—9.

дении отдельных (хотя и многих) членов дворянства, жизнь дворянина опять пошла наезженной колеей, как вечный праздник с крепостными балетами-гаремами, со псовыми охотами, пирами, сопровождавшимися—об'единением, пьянством и развратом. Задушив героическую попытку крестьянина сбросить с себя петлю, дворянин-помещик одним духом пил из чаши наслаждений, напевая—„гром победы раздавайся" и опять забывая о возможности нового грома расплаты. Словом, дворянин-победитель чувствовал себя еще более гордо, чем раньше, и тяжко теперь было всем тем, кому приходилось иметь дело с ним, как с правителем.

Наоборот, побежденное крестьянство на некоторое время впало в состояние уныния и почти полной безнадежности. И формы и этой жизнерадостности, и этой безнадежности ярко характеризовали главнейшие особенности жизни обоих боровшихся классов—это, с жиру бесящая сытость на чужой, народный счет—дворянства и безысходная, на почве материальной скудости, умственная темнота крестьянства. Благодаря этой последней черте крестьяне не удержались на взятом ими на один миг положении победителей, потому и не удержались, что смотрели не вперед, а назад: стремились к новой жизни без помещиков, но думали придти к ней старым путем через отдачу себя под верховную опеку единому барину—царю.

Новый путь перед умственным взором крестьянства пока застилался непроглядной тьмой или, точнее говоря, вследствие господствовавших тогда производственных отношений, нового пути еще не было. В этом—причина полного краха пугачевщины и последовавшего за ней мрачного угнетения духа и разочарования в себе и жизни крестьянских и вообще простонародных масс.

Но это был временный упадок духа в крестьянстве. Та же пугачевщина, будучи бита, оставила неизгладимый след в психике крестьянства, как миг временной победы над дворянством, как миг власти над ним и мести ему, а такое воспоминание эмансипировало крестьянина от страха пред его господином и он смелее готов был снова подняться на него с расчетом на больший и конечный

успех. Недаром вскоре после казни Пугачева, образованный и осторожный в наказаниях помещик Болотов испытал крестьянскую вспышку, во время которой произошла такая сцена. Вожак крестьянской толпы, которого Болотов хотел ударить, обругав „сукиным сыном", за нежелание идти на подавление своей братии-мужика, сам с ругательством бросился на своего помещика и уже схватил было его за ворот, чтобы стащить с крыльца для расправы над ним. А пред тем крестьянин с злобной усмешкой заявил помещику: „Стал бы я бить свою братию! А разве вас, бояр, готов буду десятерых посадить на копье сие!" Все это дало барину точное понятие о крепостной психологии. Вообще, крестьянство после пугачевщины сделалось по отношению к поместному дворянству еще более непримиримым. Эта непримиримость просвечивает и в немногих песнях о Пугачеве. О нем народ не создал таких оригинальных и поэтических песен, как о его предшественнике Разине. Но в одной песне отчетливо светится народный гнев и угроза будущему в истории дворянско-помещичьего гнета. На вопрос Панина:

„Скажи, скажи, Пугаченька, Емельян Иванович,
Много-ли перевешал князей и боярей?"
Пугачев отвечает:
„Перевешал вашей братьи семьсот семь тысяч.
Спасибо тебе, Панин, что ты не попался:
Я бы чину то прибавил, спину то поправил,
На твою то шею варовенны вожжи,
За твою-то бы услугу повыше повесил".

Литература: А. С. Пушкин «История Пугачевского бунта» (сочин. Пушкина, т. XI, в изд. Академии Наук, с прим. Н. Н. Фирсова); Н. Ф. Дубровин, „Пугачев и его сообщники"; Н. Н. Фирсов „Пугачевщина" 3-е изд.; его же „Народные движения в России до XIX в."; А. Н. Филиппов „Москва и Пугачев"; Г. С. Губайдуллин „Пугачевщина и татары", Баку, 1927 г.; „Пугачевщина" I—III т. т. изд. Центрархива. (Из архива Пугачева: манифесты, указы, переписка и следственные материалы).

ОГЛАВЛЕНИЕ.





ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ.

Страница:	*Строка:*	*Напечатано:*	*Следует:*
17	9 снизу	повенчевши	повенчавши
21	8 сверху	шель	шел
28	4 —	тьжелее	тяжелее
33	12 —	замышленного	с замышленного
39	8 снизу	прикасчик	приказчик
40	2-3 —	единомышленниками	единоплеменниками
44	19 —	входили	входил
71	9 сверху	было было	было бы
73	6 снизу	Сарай	Серый
75	16 сверху	дожность	должность
84	8-9 снизу	офицеры;	офицеры,
95	13 —	дома	дома,
99	6 —	настанет	настает

ТОГО-ЖЕ АВТОРА:

1) Вступление на престол Елизаветы Петровны. Казань, 1887 г.

2) Законодательство о хлебном вине в XVIII веке. Казань, 1892 г.

3) Царь Иван Васильевич Грозный. Казань, 1892 г.

4) Некоторые черты из истории торгово-промышленной жизни Поволжья. Казань, 1898 г.

5) Русские торгово-промышленные компании в первой половине XVIII в. Казань, 1896 г., втор. изд. Казань, 1922 г. Магист. диссертация.

6) Правительство и общество в их отношениях к внешней торговле в царствование Екатерины II. Казань, 1902 г. Докторская диссертация.

7) Разиновщина, как социологическое и психологическое явление народной жизни. Петерб. 1906 г., 4-е издание, Москва, 1920 г.

8) Пугачевщина. Петерб. 1908 г., 3-е изд. Ленинград, 1925 г.

9) Примечания к истории Пугачевского бунта (364 стр.) в XI томе сочинений Пушкина, изданных Академией Наук, Петерб. 1914 г.

10) Чтения по истории Среднего и Нижнего Поволжья. Казань, 1919 г.; втор. издап., Казань, 1921 г.

11) Чтения по истории Сибири. Москва, 1915 г. 1-й выпуск; второе издание, Москва, 1920 г. и 2-й выпуск, 1921 г.

12) Исторические характеристики и эскизы. 2 тома, Казань, 1922 г.

13) Народные движения до XIX в. Москва, 1924 г.

14) Чтения по истории России, Казань, 1924 г.

15) Крестьянская революция 1917 г. (до октября) и временное правительство. Журн. Каз. бюро истпарта—„Пути революции", Казань, 1922 г.

16) Русская революция и Ленин. Казань, 1925 г.

17) Герои 14-го декабря. Ленинград, 1926 г.

18) Историч. характеристики и эскизы. 1-й вып. III-го тома, Казань, 1926 г.

19) Прошлое Татарии. Казань, 1926 г.

20) Крестьянская революция на Руси в. XVII. Москва, 1927 г.

21) Красная армия и ее борьба. Казань, 1928 г.

22) Русская история. Руководство преимущественно по истории классовой борьбы в России. Выпуск первый. Москва, 1928 г.

23) Николай II-й. Опыт личной характеристики преимущ. на основании дневника и переписки. Казань, 1929 г.

Приготовлены также к отдельному изданию характеристики, напечатанные в журн.: „Былое": Александр I, Александр II и Александр III, а также и нек. другие.

ЦЕНА 1 РУБ.

